

---

---

Наталья ГАЛКИНА

# НАЧАЛЬНИК ВСЕГО

Роман

Раньше я ничем не интересовался, теперь меня интересует все.

*Эрик. Трактат обо всем*

В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Мантия уже совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Гулял в мантии инкогнито по Невскому.

*Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего*

Одно из двух: или мы разумные, духовные люди, подчиненные навек абсолютным ценностям дао, или мы «природа», которую могут кромсать и лепить некие избранные, руководимые лишь собственной прихотью [...], некие существа, работающие над теми, кто сменил человека.

*Клайв Степлз Льюис. Человек отменяется*

## Бабилония и Домодедов

— Бабилония, — сказал я жене, — давай съездим в Барселону.

— Домодедов, — отвечала она, — ты опять слушал свою заповедную песню по дурацкому древнему компьютеру? Я ее уже слышать не могу, да и видеть исполняющую ее карикатурную пару не в силах.

— Ты не права, — возразил я. — Дама из карикатурной пары — великая певица, а мужик — автор песни, обожаемый толпами людей исполнитель.

— Толпы людей — не аргумент, — промолвила жена моя. — Цифрами и толпами оперировали фашистские идеологи. В Барселону! Да я в Москву к любимому племяннику на крестины малютки не смогла поехать, а ты знаешь, какое это событие в семье, учитывая личные и медицинские сложности. У нас денег нет на поездки, ты посчитай, какая у тебя пенсия, сколько стоят билеты. Оцифруйся, наконец.

С этими словами она, хлопнув дверью, отправилась на Сенной рынок, где продукты, как известно, с мая по октябрь отличались дешевизной. Из экономии ходили мы на рынок пешком (километров пять через мост), обычно это была моя вахта, чаще старался я совершать долгую пешую прогулку один, но намедни вылил себе на ногу полчайника кипятку, лечился, сидел дома, совершенно оправдывая данное мне внучкой прозвище Домодедов. Само собой, бабушку Бабилонией прозвала она же.

---

Наталья Всеволодовна Галкина родилась в г. Кирове. Окончила Высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухомой. Пишет стихи, прозу, занимается переводами. Публикуется с 1970 года. Лауреат премии журнала «Нева». Член СП. Живет в Санкт-Петербурге.

Выдвинув самый мелкий узкий ящичек старинного обшарпанного многодетального петербургского бюро (называемого некогда «кабинетом»), достал я цветной шарик, стеклянный, что ли (иногда нам с внучкой казался он исполненным из неизвестного геологии нездешнего минерала). Застав меня с ним в руках, жена спрашивала: «Шариков не хватает?» Мерцал, перемещаясь, блик, огонечек марсианский в глубине шарика, украденного Каплей из волшебной комнатухи механических игрушек, мобилей, заводных мирков.

Тотчас пришел кот, спавший в соседней комнате, сидел, покачиваясь, сонный, снулый, встрепанный свалявшийся валенок. Он чуял шарик издалека, глядел неотрывно, притянутый темным магнитом. Катать! катить! закатить к ляду в щель в полу!

Когда жена моя уходила одна пешком в рыночную даль, я нервничал, по правде говоря, она ни силой, ни здоровьем не отличалась, разве что партизанской стойкостью и молчаливым глубинным упрямством. Вообще, чем-то походила она на баптистку, неведомой миру секты, со строжайшими правилами поведения; никто этого не замечал, кроме меня, она вообще не очень была заметна, меня радовало, что разглядел ее в юности именно я, повезло мне на всю жизнь.

Отличаясь невиданным терпением и стойкостью, она не жаловалась и не ворчала, редко, очень редко, когда усталость ухитрялась ненадолго ее доконать или перед единоличными походами на рынок. В ожидании возвращения ее с провиантом время для меня тянулось бесконечно долго, а по мобильному из соображений экономии звонить она запрещала. Но в этот раз марсианский шарик, втягивающий взгляд, привязывающий к глубинам своим зрачки мои незримыми нитями, как видно, проделал обычный фокус: сделал время иным, конвертировал его в точку, превратил в мгновения часы моей жизни.

Хлопнула дверь, вернулась с тяжелейшими сумками любимая моя, я заковылял к двери, она прикрикнула: «Хромай отсюда!» — совершенно счастливая, что пришла домой, добыв еду, и турнула кота, сунувшегося бодать ее ботинки. Кот тоже радовался приходу кормилицы, даже забыл спереть шарик, тут же спрятанный мною, так что Вавилония меня за лицезрением шарика медитативным не застучала.

В качестве рифмы вечерний телевизор в невыносимом очередном концерте показал воистину карикатурную пару: известная нимфоманка с не менее известным гомосексуалистом пели дуэтом песню о любви. По счастью, мое время пребывать у ящика истекло. Я убыл в комнатенку диванную, где тихо читал. По ночам Вавилония смотрела сериал о маньяках. После очередной серии спрашивал я ее, уж не является ли она адепткой какого-нибудь нехорошего дикарского культа с кровавыми жертвоприношениями? И она отвечала нежной, туманной улыбкой, не изменившейся с юности.

Она уснула моментально, как всегда после своего загадочного жуткого сериала. Тогда я сказал ей спящей:

— Дорогая, я хочу в Барселону потому, что там на горе Тибидобо есть музей механических игрушек, где, может быть, стоит маленькая пятиэтажная узкая тюрма, где по этажам судьбы бегают фигурка Начальника Всего, запускающая события.

## **Дюма-внучка**

Будучи, как десятилетиями журналисты нам впаривали, представителями самой читающей в мире страны (или — самой читающей в мире нацией? эфир летучий журналистских оборотов кто же в силах в голове удержать...), мы, конечно же,

отличали Дюма-отца от Дюма-сына. Хотя Дюма-сына читал я только «Даму с камелиями». А базовым произведением Дюма-отца считал «Трех мушкетеров». С возрастом история мушкетеров в воображении моем тускнела, оборачивалась горою трупов, только шпагою верти да мушкеты заряжай, а трогательная оперная Виолетта-Травиата при ближайшем рассмотрении оказывалась проституткою, пусть расцветают все цветы, как китайцы до китайской культурной революции говаривали.

В семье нашей Дюма-отца и Дюма-сына не случилось, Дюма-мать проскочили мы, как большинство семей, образовалась у нас сразу Дюма-внучка: внучка наша Капитолина, которую звали мы Каплею, подалась в романистки лет с пяти с половиною, грамоте научилась она рано и как бы исподволь, мы вроде учили, но не настаивали.

Сперва писала она трактаты: «Жизнь животных», «Фсе о гребах». Иллюстрировали мы сии писания в четыре руки, Бабилония шивала получившиеся книжечки белыми нитками или скрепляла скрепочками, добытыми из ученических тетрадей. Потом — в шестилетнем возрасте — настала очередь романов, главными героями которых были мореплаватели и пираты. На волнах прозы нашей Дюма-внучки качались парусники, в водах плавали морские коньки, медузы, спруты, каракатицы, попадались радиолярии, киты, скаты и иже с ними: девочка любила Брэма. В уголке, отведенном для нее в нашем доме (на наше счастье, родители частенько подбрасывали нам Каплю), на подоконнике, среди домашних растений, стоял аквариум, писательница смотрела на мир сквозь его зеленоватую среду, читательница воображала себя капитаном Немо на «Наутилусе». Напротив диванчика, служившего Капитолине кроватью, стояло маленькое игрушечное бюро осьмнадцатого столетия (вполовину меньше моего антикварного, на четырех высоких ножках, так что пространство под бюро временами превращалось в логово разбойников или шалаш землепроходца), где, макая в чернильницу привезенное из деревни заточенное гусиное перо, Дюма-внучка писала свои рукописи, потерянные и найденные в Петрополисе белой ночью, а также письма от неведомых персонажей другим неведомым (иногда симпатическими чернилами из сташенной с кухни луковицы), кои запечатывались коралловым сургучом, обретенным в одном из прадедушкиных тайников старых бюро-кабинетов.

— Защищайтесь, сударь! — вскричал Артур, выхватывая шпагу.

Аделина упала в обморок.

И пока она валялась в обмороке, благородный граф с помощью разве что шпажки своей и гусиного пера нашей Капли одерживал победу над злом.

— Все-таки почему, — спросил я жену свою, — ты смотришь эту кровопускательную ночную многосерийную телепортативную фильму про маньяков?

— Да потому, — отвечала она, — что главные героини ее хотят потеснить зло и одержать над ним верх.

— Мой дедушка, — сказал я, — называл такие бесконечные комиксы «Двенадцать хладных трупов, или Обосранный кинжал».

— Ты хоть при Капле это не ляпни. Ей твой вольный словарь ни к чему.

И впрямь, романы свои строчила наша Дюма-внучка самым что ни на есть высоким стилем, уснащенным прилагательными, деепричастными оборотами, засиженным насекомыми запятыми и многоточиями.

— Домодедов, я придумала город по названию реки! — похвасталась Капля.

— Что за город?

— Свяжск.

— Ну-ну... — разочарованно сказал я, — тоже мне, придумала. Я в молодости в Свяжск на семинары ездил. Там мы и с бабушкой познакомились. Не делай большие глаза, не скачи вокруг меня, не проявляй свое нетерпение великое. Достану с ан-

тресолой папку, покажу тебе старые этюды, увидишь конфуз свой воочью. Придумала она. Его в шестнадцатом веке Иван Грозный придумал, а князь Серебряный воплотил.

### Котовский и Клеопатра

Антресоль наша висела в воздухе: часть потолочного пространства при входе на кухню, большой зашитый сундук от стены до стены, склад, глухой сараюшко над головою. Не имевшее окна (было бы окно, сошло бы за комнатушку для жильца, например, студента, хотя бы и по имени Родион) помещение снабжено было всего лишь закрытой дверцей: чтобы сунуться на антресоль, надо было подставить к дверце стремянку.

Если в старинных домах на антресолях и вправду жили (у знакомой моей художницы, соученицы, в мастерской свито было такое уютное гнездо под потолком: стояла кровать с ситцевым лоскутным одеялом, светила лампа с зеленым абажуром), в современных кубатурах там располагается небольшой склад прошлого, музейный запасник семейный, сонмище предметов, которые то ли по бедности, то ли из сентиментальных соображений, то ли по бестолковости планировки жилища никак не выбросить, которые могут понадобится когда-нибудь, как то: печурка-буржуйка времен разрухи и блокады, старый докторский баул (или саквояж?) из свиной кожи, ботики и калоши середины века (какого?), чемодан с бабушкиными архивными письмами и дневниками, рамы без картин и вытаскиваемая мной с превеликими трудами папка этюдов моих времен детства и молодости. Занятый выволакиванием папки (на голову мне пали два бамбуково-шелковых китайских зонтика с пейзажами на шелке и кистями на ручке, зеленый и красный), я что-то пропустил: кажется, открывали и закрывали дверь в квартиру.

— Ах ты, паршивец! — вскричала жена моя. — Нашлялся, да еще и дамочку до-мой привел!

Я уже слезал с папкой в руках, извлеченной из космической пыли и мистической паутины, когда под стремянкой моей прошли два неторопливых животных — наш рыжий Котовский, а за ним изящная черная мелкая кошечка с бирюзовыми глазами.

Котовский провел спутницу свою в ресторанный уголок, она незамедлительно принялась угощаться из его посуды, и пока подъедала она оставленные им на вечер объедки завтрака да попивала молочко, он сидел рядом, торжественно, вальяжно, с видимым удовольствием наблюдая за нею.

— Столовку для хахальницы своей у нас устроил, — сказала жена. — Ты что это, Котина, выдумал?

— Котовский привел себя Клеопатру, — сказал я.

Гладкая небольшая угольно-черная головка кошки, египетский профиль другого имечка и не подразумевали. Приведя ее вечером в пятницу (к ночи жена отправила Клеопатру на лестницу), он с ослино-кошачьим упрямством привел ее и в субботу, и в воскресенье, а в понедельник она осталась ночевать. Кот не ухаживал за подружкой своей — никаких признаков случки, прыжков, междометий. Иногда они вылизывали друг друга. Котят Клеопатра не принесла. То ли они дружили, то ли то была великая кошачья любовь.

Когда я открыл папку, с верхнего маленького портрета (единственного портрета, все остальное были пейзажи, этюды, наброски) глянуло на меня лукавое розовое женское личико с ренуаровской челкой.

— А ведь это Тамила! — воскликнула Вавилония.

И в первую минуту я удивился, как старый склеротик: откуда она знает Тамилу? Кажется, я забыл на мгновение, что с женой я познакомился там же, где и с Тамиллой, — на семинарах в Свяжске.

### **Тамила**

Подобно тому как пеннорожденная Венера, Афродита, появилась из пены морской, Тамила родилась из куста сирени, возникла из сиреневых куп, точно врубелевская девушка с картины «Сирень». Даже платье ее шелковое было лилово-сиреневое, где фиолет переходил из краплака в ультрафиолет, в цвета разных гроздей сирени, то светлых, то густо-лиловых. Пятна на ее платье (словно пятна шелковых халатов узбечек, акварельных одежд) соседствовали, чуть расплываясь, в линиях соприкосновений.

Это были годы сирени, сменившие годы пустых побережий.

Замечали ли вы, что в разные годы расцветают и царствуют разные семейства растений?

В то десятилетие сирень заполонила сады, окрасила в лиловый цвет белонощный Петербург, именуемый Ленинградом, самовольно заполонила бывший Кёнигсберг, ныне Калининград, легко завоевала Прибалтику, города и веси средней полосы, самостийную Украину, Волгу, колыбель нашу. Все утонуло в сиреновом счастье неправильных пятилепестковых соцветий, — их полагалось отыскать и, задумав желание, съесть.

Тамила вышла из куста сирени как задуманное желание. Челка ренуаровской девушки, розовое лицо, гранатовые губы, так часто подкрашенные улыбкой.

При тонкой талии, тонких запястьях и лодыжках все выпуклости тела Тамилы были... ну, и так далее. Она шла танцующей походкой, плавно колыхалась грудь, округлые плечи под солнцем, колоколом ходила пышная юбка. Не за эту ли походку семинарские звали ее Кармен?

— Я секретарь секции дизайна, — произносила она певучим плавным голосом, сопрано или контральто, теперь и не вспомнить, и эта непритязательная формулка превращалась в ее устах в певческую фразу.

Вскипал вокруг нее воздух, воздыхатели дарили ей цветы, начинали лихорадочно рифмовать: «томила», «утомила». Она улыбалась — чуть снисходительно.

То были годы сирени, но и семинаров (их развелось великое множество, так же как конференций); симпозиумы и коллоквиумы были впереди.

Народ, десятилетиями безмолвствовавший, отбезмолвствовал и заговорил. Слово «заговоры», правду сказать, некоторым на ум приходило. Заколдовать хотелось облое, стозевное, огромное чудище эпохи, заколдовать, зааминить.

Пену речей можно было сравнить с пеной сирени.

Говорили, говорили — с пеной у рта.

Шквал семинаров захватил и меня. Участвовал я в сенежских, ездил на свияжские; компании говорящих встречались то там, то сям; семинарские (семинаристские тогда еще не возродились) сборища напоминали — люби и знай свой край — перелетный кабак английского классика.

Местные жители — где бы ни проходили собрания сии — относились к ним скептически:

— Брехать не пахать, сбрыхнул, да и отдохнул.

И из другого угла:

— Лучше не бай, а глазами мигай, будто смыслишь.

В нашей колоде карт Тамила была дама червей: одно сердечко прямое, другое обратное, зеркальное, перевернутое, дама в лиловом с веером черным; а в волосах-то что? Венчик золотой? Алый мак Карменситы?

Она была прекрасной дамой словесных турниров, ей нравились главные герои, самые стилисты, краснобаи, оригиналы, рыцари заговорившего времени.

Некоторые из них и внешне были хоть куда: эспаньолки, усы, курточки иностранные, экзотика, стрижка длиннее, чем у чиновников, орлиный профиль. Состав семинаров, впрочем, был пестрый. Помню одну затрапезную, бедно одетую троицу ленинградскую: три дизайнера, искренне считавшие, что дизайн вот-вот спасет мир, ну уж страну-то непременно, и осчастливит заблудшее человечество. Пошивалов, Недошивин и Шитов. Тамила называла их «Всё-для-шитья», улыбаясь; когда улыбалась, на щеках появлялись ямочки, забывалось необычайное ее имя, вспоминалась простая, бойкая, округлая украинская фамилия.

По утрам видели мы иногда Тамилу сонной, с чуть припухшими губами, до полудня напоминала она помятый цветок, и знали мы, с кем просидела она полночи возле древней деревянной полусгнившей Троицкой церкви на скамеечке, на которой, по словам местных жителей, сживал во время оно царь Иван Грозный.

### **В огороде бузина, а в Киеве дядька**

Каждой твари по паре.

*Описание Ноева ковчега*

Участники семинара представляли собой натуральный сбродный молебен. Условно существовало разделение на секции, но ходили на лекции по интересам, на иные сообщения набивалась толпа, на других присутствовало от силы человек восемь.

С детства запомнил я, как наша школьная учительница истории рассказывала о средневековых спорах схоластов, об их умопомрачительных диспутах. «Сколько ангелов помещается на кончике иглы?» Ощущение блистательной темы этого доклада, давшего название всей конференции, не отпускает меня. Но я за всю жизнь так и не удосужился узнать, о чем в итоге шла речь: о габарите ангела или об иных мирах?

Напоминали ли наши толковища сборища схоластов или малые компании древних философов-перипатетиков, я не знаю.

Тематические семинары были невероятной смесью, не скажу, что гремучей, внезапно наступивший (и растворившийся к концу восьмидесятых) брейн-штурм. Что штурмовали? крепость невежества? директивно-суконную страну советских газет? Не знаю я и этого.

Говорили о нелинейном мире, сравнивали языки науки и искусства, разбирали произведения всех жанров, включая клоунаду. Вот названия некоторых сообщений: «Признаки гениальности», «Игра в карты Проппа», «Первая скрипка на балу у Воланда», «Перемена участи», «Мы и синергетика», «Занимательная уголовщина» (лектор последней темы говорил о «Трех мушкетерах» и «Графе Монте-Кристо» Дюма; с места из зала вторили ему, вспоминая «Живой труп», «Преступление и наказание», «Бесов»).

Мы увлекались, восторгались, но и посмеивались.

Но каким праздником бытия кажутся мне сегодня наши фейерверки болтовни (а кроме чудаков и оригиналов, забредали на наши бредни блистательные умы), когда Бабилония, нажав не на ту кнопку телевизионного пульта, врубает какое-нибудь очередное «ток-шоу», где недалекие невоспитанные люди жуют жвачку повсе-

дневности, кричат, скандалят, перебивают друг друга. Ток-шоу! Ток-то тут при чем, о язык мой бедный? Лепестричество-то с какого боку в этой лишенной всякой энергии а-у-ди-то-ри-и?

Впрочем, вторглось же в одну из первых реклам нашего подновленного мирка (нашего Миргорода) посвященное шампуню слово «вошь». «Вош энд гоу», вошь энд гоу. Гоу хоум, вошь. Была ли то ослышка, оговорка или какой-то самоновейший стиб в стиле комсомольских работников? Высшей их, особо юморной вырожденческой расы?

Но в некотором роде на наших-то собраниях токовали, точно тетерева на току, бу-бу-бу, как детский писатель Бианки писал, бу-бу-бу. Падали спать в рыхлый снег усталые глухари. С деревьев лесных. Впрочем, нам за лесами надо было на другой берег переправляться: отсутствовали в Свяжске леса, не помещались, только палисадники, сады, отдельные деревья.

И, по выражению тогдашнего коллекционера канцеляризов, «наличествовала противу табельной положенности», отчаянно цвела избыточная сирень.

### **Сбродный молебен**

И кого тут только не было. Кроме известного уже трио «Всё-для-шиться», представляла троица Джорогов, Джабаров и Джангаров (кажется, спецфизиологи). Поскольку иногда заседания разных секций, подсекций, межсекционных и междисциплинарных групп проходили одновременно, представления обо всех докладах составить было невозможно. Однако встречались: в столовой, у воды, у костра.

Тут было несколько знаменитостей, действительно известных ученых, проходили фигуры «широко известные в узких кругах», мелькали энтузиасты, городские сумасшедшие, поэты (просто поэты, авангардисты и концептуалисты), засекреченные персоны под псевдонимами, любознательные, любопытные, краснобаи, радующие глаз девушки, изобретатели из самых разных областей деятельности человеческих существ (кинематических игрушек, мобилей и стабилей, роботов, загадочных устройств вроде пневмоподъемника цемента, музыкальных инструментов), звезды будущей электроники с кибернетикой, секретные сотрудники и наблюдатели внутренних органов (и имелись в виду не желудок с селезенкой, а иные инстанции и реляции), вечные и обычные студенты, молодожены, красавицы, бездельники и несколько многообещающих комсомольских работников. Меня занимали доклады тех, кто по роду занятий не имел никакого отношения к предмету интересов своих: суждения об искусстве врачей (особенно психиатров) и итээровцев, математические выкладки дизайнеров и музыкантов, внеисторические бредни футурологов (в футурологи ломали кто ни попадя — от конструкторов до биологов, политологов, актеров и экономистов). На вечерних докладах, когда на улице можно было вывешивать экраны, светились пучки света из диаскопов, крутили кино, кинематографисты наезжали, сменяя друг друга, их график, как графики гастролирующих театральных деятелей и артистов цирка, вечно лихорадило.

Приезжали из разных городов, приплывали водными путями, прилетали бы, да аэродром отсутствовал, равно как и вертолетная площадка.

Впрочем, некоторые прилетали в Казань, добирались оттуда. Являлись учителя с самоновейшими методиками обучения, психологи с будущими технологиями внушения и охмуряжа, хирурги в преддверии революции в области трансплантологии и иже с ними. Остров наш был натуральный Ноев ковчег: каждой твари по паре.

Привозил катерок исследователей алхимии и тайных адептов ее, приподздавших с ретортами веков на пять. Ветром неизвестного направления заносило любителей

розенкрейцеров, консервированных масонов, невесть каких сектантов, прожектеров и еретиков.

И наблюдали мы пир мысли, ее сомнительную кухню и психоделические синдромы с продромами. О значении слова «дром» в любимом Пушкиным произведении Борроу «Лавенгро» поведал нам любимый всеми литературовед, он же рассказал о посещении Александром Сергеевичем Свяжска и о его восторге и удивлении: он узнал в нашем острове-граде придуманный им лично остров Буян.

Что до доклада о последней картине Левитана «Озеро. Русь» с изображением вышеупомянутого острова и *тенью облака*, он ожидался в последней трети семинара.

В общем, как ни велико было искушение назвать наше действие футурологическим конгрессом, некоторые ветви его принадлежали самому что ни на есть ветхому прошлому. И не одни милые энтузиасты топтали тропы его; ходило тут и зло.

### История Свяжска

Первый семинар открывал Александр Сергеевич Титов, директор Ленинградского филиала ВНИИ технической эстетики, ВНИИТЭ. В родном городе считалось, что увидеть приезд Титова на работу — к счастью: такая же верная примета, как увиденная баба с пустыми ведрами — к несчастью. Титов подкатывал к воротам Инженерного замка на маленьком ярко-алом самодельном автомобиле, напоминавшем одновременно и гоночное, и самое шикарное фирменное авто, то ли итальянское, то ли шведское. Чтобы вместиться в свое средство передвижения, высокий худой Титов складывался, как складной нож. Вот подъезжал он на возвышение бывшего моста по исторической брусчатке, выходил, элегантный, седовласый, в неизменном костюме цвета мокрого асфальта, похожий на киноактера; мы замирали на обочинах, те, кому повезло лицезреть его голливудское появление. Весь вид директора ВНИИТЭ, его спокойствие, неторопливость, серый костюм, автомобиль, красивый голос почему-то говорили о некоей иной жизни, которой нет ни в родном СССР, ни на ихнем Западе.

Титова можно было увидеть и услышать в нашем родном мухинском, где входил он в состав ГЭКа, и на художественных советах комбината живописно-оформительского искусства, КЖОИ. Во все спорные разбирательства, где иногда и голоса повышали, и ссорились, вносил он ноту спокойствия, достоинства и тишины.

На сей раз появление Титова было обставлено как некоторая мистерия, театральное действо. Сперва сопровождали его несущие на шестах плакаты; то были годы расцвета польской плакатной графики, публиковавшейся во всех дизайнерских журналах: в «Технической эстетике», в «Домусе», «Проекте», «Гebraусграфике», «Декоративном искусстве». Тотчас тема плаката подхвачена была краткими заданиями, клазурами, для мухинских студентов. И вот теперь вынесены были, подобно хоругвям, уникальные, выполненные своеручно плакаты, посвященные свяжскому семинару. Следом вынесли — тоже на шестах, выполненные на наклонных планшетах, чтобы всем было видно, — два редкой красоты макета старинного Свяжска: деревянный, темно-золотой и прозрачный, из оргстекла.

Титов напомнил собравшимся (и сообщил несведущим), что данный семинар проходит в Мировое десятилетие научного дизайна, открытое в Монреале великим Бакминстером Фуллером, признанным гуру дизайна, архитектуры и альтернативных поселений, и посвященное «применению принципов науки в решении проблем человечества».

Когда помянул он Бакминстера Фуллера, внесли в монастырский двор, где и проходило наше собрание (день был солнечный, безветренный, ясный), несколько



макетов, прославивших Фуллера и применявшихся во всем мире, особенно в студенческом проектировании геодезических куполов. Мы рассматривали их, закинув головы; следом шли люди с моделями фуллеровского «Девятого неба» — парящими геодезическими сферами летающих мини-городов.

Титов говорил не очень долго, должно быть, как его любимый Бакминстер Фуллер, рассматривал информацию как «негативную энтропию». Но он успел поведать, что именно Свяжск был задуман и исполнен мастерами (и мыслителями, сказал он) шестнадцатого века как уникальный дизайнерский город.

— «Воеводы, — читал Титов, — заметили посреди реки высокий холм с крутыми склонами и плоской вершиной. Холм стоял на чувашской земле и назывался Кара-Кермен. В воде оказывался он в половодье, превращаясь в остров, к лету вода отступала, мелкие речонки и овраги окружали холм. Окончательно превратилось место, где мы находимся, в остров после строительства на Волге плотины у Жигулевской ГЭС и создания Куйбышевского водохранилища.

Воеводы царя Ивана Грозного впервые увидели холм в начале мая. По приказу царя под руководством князя Серебряного в районе Углича срублены были все части крепости и города, пронумерованы до малейшей детали, сплавлены по Волге и собраны за четыре недели на острове-холме.

Основан был Свяжск 24 мая 1551 года. Вот как написал об этом в своих „Записках о Московии“ Генрих фон Штаден: „Великий князь приказал срубить настоящий город с деревянными стенами, башнями, воротами, а балки и бревна переметить все сверху донизу; тот город собрали под Угличем, затем разобрали, сложили на плоты и сплавили вниз по Волге вместе с воинскими людьми и крупной артиллерией. Когда он подошел под Казань, он приказал возвести на холме этот город и заполнить все укрепления землей. Сам он возвратился в Москву, а город этот занял русскими людьми и артиллерией и назвал его по названию реки Свяжском“. Таким образом, привезенный и собранный на месте как громадный дизайнерский „конструктор“ Свяжск, к ужасу казанского хана, „внезапно возник“ почти рядом с Казанью. Таково было блистательное исполнение первого, а может быть, и единственного в мире дизайнерского города, в весеннее половодье превращающегося в неприступную крепость. Когда Александр Сергеевич Пушкин в 1833 году увидел Свяжск, он пришел в неописуемый восторг: именно так представлял он себе сказочный город на острове Буяне, когда писал „Сказку о царе Салтане“. На двух представленных здесь сегодня плакатах вы можете увидеть рисунки из летописи, посвященные строительству окружающей нас сегодня жемчужины Поволжья».

Тут закрыл он блокнот с текстом доклада своего и сказал, что, по легенде, возле самой маленькой и самой древней деревянной церкви острова по сей момент стоит у входа скамья, на которой сживал Иван Грозный. А на фреске Успенского собора «Шествие праведников» изображен был царь Иоанн Васильевич, прижизненно причисленный к лику святых. Тогда как на соседней фреске видим мы египетского бога Анубиса, нашедшего храм на берегу Ра; впрочем, сказал он, многие искусствоведы считают, что это не Анубис, а песьеголовый покровитель путешественников святой Христофор.

— Более четырехсот лет назад, — сказал Титов, — на этом самом месте зародился русский дизайн, и я счастлив, что нахожусь здесь сегодня с вами и с надеждой смотрю в будущее.

Тут вышла Тамила, возникшая из сиреневых кущ, она была из того же Ленинградского филиала ВНИИТЭ, что и Титов; Тамила улыбалась, в руках держала она за нитку огромный белый пятипалый воздушный шар, надутый из медицинской перчатки. Она протянула Титову ножницы.

— Поздравляю всех, — сказал он, — с открытием нашего прекрасного мероприятия. Он перерезал ножницами нитку, и шар воспарил, как придуманные Букминстером Фуллером летучие города будущего под кодовым названием «Девятое небо». На наших широтах, по нашим представлениям, небес было семь.

### Реплика о хитреце

Выступления докладчиков подразделялись на доклады, лекции, сообщения, краткие сообщения и реплики. Первая реплика, которую довелось мне услышать, называлась «Господин Г.» и посвящена была Гурджиеву. В аудитории, одном из классов краснокирпичной женской гимназии, мы с выступающим оказались с глазу на глаз.

— Надо же, — сказал он, почти улыбнувшись, — вы единственный, кто интересуется личностью Гурджиева.

Я неопределенно отмычался в утвердительной тональности. Не мог же я сказать человеку в лицо, что я попросту спутал аудиторию, да еще и ногу у входа в нее подвернул, мне срочно надо было сесть. На самом деле хотел я услышать всеми любимого и уважаемого легендарного Раушенбаха, приехавшего на остров на один день.

Я сел в одном из последних рядов, изо всех сил стараясь не хромать.

— Ничего, — сказал я бодро, — Александр Блок тоже один раз читал послереволюционную лекцию единственному студенту, Всеволоду Иванову.

— Я в курсе, — мрачно отозвался выступающий.

Пошуршав, приступил он к реплике своей.

— Гурджиева, темного, восточного, плохо переодетого человека, словно являющегося не тем, за кого он себя выдает, называли «Танцующий провокатор». Поставленный им для учеников и адептов балет «Битва магов» сталкивал на тонком уровне некие силы, работал с коллективным бессознательным, раскалывал основы мира, провоцируя кризис, пройдя через который больное человечество должно оздоровиться. В группах, которые он тренировал, активировал он психические возможности, используя шаманские суфийские практики. Танцоры балета Гурджиева в 1923 году в Париже бросались к рампе, перемахнув через оркестровую яму, хаотично валились в первые ряды партера — и ни царапины! Люди были доведены им до состояния натренированных зомби или цирковых животных: автоматизм и математическая точность.

Тут дверь отворилась, и появился второй слушатель.

Возможно, я видел его и раньше, но словно увидел впервые.

Обычно всматривался я в окружающих, когда рисовал их, когда делал то есть наброски, или когда человек чем-то притягивал меня. Вошедшего мне никогда нарисовать не хотелось. В лице его, бледном и холеном, несмотря на легкий загар, чего-то не хватало или было что-то лишнее. Как выяснилось позже, женщины находили его привлекательным, но женщин я, по обыкновению — за редким исключением, — не понимал. На семинарах представлялся он Энверовым, потом узнал я, что это был псевдоним.

Он извинился, расположился в первом ряду, приготовился записывать (конечно же, экзотической ручкою в шикарном блокноте). Лектор после краткой паузы продолжал:

— Боявшихся крови учеников заставлял он резать домашних животных. Он говорил: «Делай невозможное, затем сделай это дважды или занимайся сразу двумя несовместимыми занятиями». Экзальтированные дамы из его учениц чистили морковь в темноте и мыли посуду в холодной воде, одновременно производя в голо-

ве сложные математические вычисления, а прославленные хирурги и психологи копали глубокие ямы, чтобы потом закапывать их и выкапывать вновь (Франция, Приоре).

Провокационные методы были коньком Гурджиева. Во Франции он жил в поместье площадью двести пятьдесят акров, где стоял замок семнадцатого века и старый авиационный ангар, преобразованный в студию танцев, с надписью на стене: «Энергия, производимая созидательной работой, немедленно преобразуется для нового употребления. Энергия, производимая механически, теряется навсегда».

В России времен Гражданской войны он ухитрялся читать лекции и демонстрировать свои оккультистские практики и для белых, и для красных; у него были двухсторонние плакаты с противоположными лозунгами и для тех, и для этих. Гурджиев говорил: «Есть четыре пути: первый — путь факира, второй — путь монаха, третий — путь йога, четвертый — путь хитреца, им я и иду».

Учившийся в юности в той же Духовной семинарии, что и Сталин, в своей группе учеников-адептов он создал модель полностью управляемой организации, чьи участники, высокообразованные интеллектуалы с пробужденными телепатическими способностями, были полностью подчинены воле учителя.

И тут самым непонятным образом боль в ноге отпустила меня на мгновение, и я уснул, отключился, загипнотизированный начисто. По счастью, ни выступающий, поглощенный чтением писанины своей, ни единственный его настоящий слушатель, занятый своими записями, неприличной и неуместной отключки моей не заметили, а мне удалось, не загремев со стула, отдохнуть и благополучно проснуться к последнему предложению:

— Гурджиев писал книги, одна из которых называлась «Рассказы Вельзевула своему внуку». Его ученик Успенский, в свою очередь, написал о нем несколько книг: «В поисках чудесного», «Разговоры с дьяволом» и «Внутренний круг». Последние двадцать лет жизни провел он в инвалидной коляске, попав в аварию: автомобиль его врезался в дерево, точно так же, как позже врезался в дерево автомобиль Галлимара и Камю, погибших на месте. Гурджиев уже не вел групп, не писал музыки, не ставил балетов, его темная фантастическая энергия изливалась через тексты его.

Энверов заплодировал, я неуверенно тоже похлопал, оба мы встали, прилежный слушатель стал вопросы задавать и записывать ответы, а я, благодарственно кивая, как китайский болванчик, попятился и спиной вперед вымелся в коридор ученической рекреации.

По коридору шла девушка, с преувеличенным интересом пронаблюдавшая мой одинокий выход рака-отшельника.

Глянул на нее и я.

И внезапно разглядел лицо ее, такое серьезное, веселое и теплое изнутри, с распахнутыми ресницами многоцветных глаз (только казались они карими, на самом деле состояли из пятнышек-точек медовых, желто-зеленых, темно-серых). Вот ее мне сразу захотелось нарисовать, можно было и скульптурный портрет с нее лепить, так прекрасно природою пролеплены были лоб, нос, скулы, нежные губы. Надо сказать, я и рисовал ее потом всю жизнь не единожды.

— Неужели вы были на реплике о Гурджиеве? — спросила она.

— Я аудиторию перепутал, — отвечал я. — И ногу подвернул.

— Я тоже перепутала, — сказала она, — и мне неудобно было в том признаться.

Вон там, на берегу, целая толпа Раушенбаха провожает. Я так хотела его услышать.

— И я, — сказал я. — Пошли хоть проводим его на катер.

Нога моя не болела совершенно, мне стало весело и легко. Ее звали Нина, она была из Ленинграда, мы были земляки.

## Ночные выстрелы

Расквартированы участники семинара были кто где. Некоторые даже с палатками прибыли, наподобие улиток свои домики с собой привезли. В заброшенном монастыре, где царил мерзость запустения (впрочем, какие-то неведомые молчаливые волонтеры или иногородние второкурсники реставрационного отделения незнамо чего расчищали и разбирали несколько флигелей), было вполне пристойного состояния крыло келий, возможно, жилое до недавних пор, располагались и в них. Я спал на втором этаже школы, бывшей гимназии. Вечерами по модной туристской привычке то там, то сям, на берегу ли, на пустыре (во дворе монастырском не разрешалось, возможно, ожидалось что-то вроде музеефикации, реставрации, благоустройства) жгли костры, сидели у костров, пили чай и сухое вино, водка возникала редко, находились певцы с гитарами, все подпевали, советская туристическая цыганщина было тогда в моде. К полночи уставали все, особенно ленинградцы, архангелогородцы, северяне, привыкшие к белым ночам, из белых ночей явившиеся и оказавшиеся в среднерусско-южной звездной тьме. Большинство художников еще и на этюды ходили, колдовская красота острова зачаровывала их. Лето в самом начале стояло теплое, ясная погода без дождей, все дожди пролились весной, подняв сирень, вызеленив зелень.

Мне то снились сны, полные приключений, то дрых я без задних ног и вне сновидений. В ту ночь меня разбудили выстрелы. Я до сих пор не знаю, стреляли ли в моем сне, или то было городское прислышание, вид привидения для яснослышащих, которых так же мало, как ясновидящих.

Резкие крики, стоны, выстрелы. Не вполне соображая, как всегда спросонок, стараясь не разбудить соседей, спавших сном праведников, я оделся и вышел на улицу. Когда спускался с крыльца, выстрелы еще были слышны; я понял, что стреляют в монастырском дворе, туда и отправился, но пока шел, высвечивая фонариком световую дорожку, все стихло. В полной тишине оказался я в темном дворе монастыря. Ни фонарей, ни света из окон. Впрочем, светила луна, полнолунный ее волчий фонарь очерчивал призрачно-белые здания, мой маленький фонарик (отцов, дареный, трофейный) отвоевывал у темноты подробности, с помощью лунной декорации и маленького лучика разглядел я сидевшего на камне (то ли остатке полуразрушенной могилы, то ли постаменте неведомого памятника) молодого человека. Сначала даже мелькнуло: не он ли тут стрельбище устроил? Я подошел поближе. Трезвый, тихий, ни пистолета, ни ружья.

— Не спится? — спросил он.

Я ответил вопросом на вопрос:

— Вы выстрелы слышали?

— Сегодня нет, — отвечал неспящий.

— Я проснулся оттого, что стреляли.

— Это не сейчас стреляли. Давно. Тут так бывает. Что-то вроде привидений. Их называют — прислышания.

— Давно? — переспросил я. — Во времена взятия Казани?

— В некотором роде, — отвечал он. — Видите ли, почти столетия назад именно тут было первое место советских политических репрессий. По приказу военкома большевистского правительства Троцкого был расстрелян каждый десятый красноармеец расквартированных на острове воинских частей, не сумевших быстро выжить белочехов из Казани.

В паузе какая-то птица пронеслась над нашими головами; была ли то сова? летучая мышь? вспугнула ли кого невзначай несуществующая стрельба, которую птица услышала позже меня?

— Впрочем, — сказал задумчиво ночной собеседник, — это могли быть и другие выстрелы. Монахов расстреливали. Настоятеля монастыря Амвросия Гурко расстреляли.

— Когда? — тупо спросил я.

— Настоятеля перед самой установкой памятника Иуде. Да все в восемнадцатом году. Летом.

— Памятника кому?! — вскричал я.

— Иуде, — отвечал он не сморгнув. — Кандидатуру, по легенде, Ленин утвердил. Люцифера он Троцкому ваять запретил, Каина отверг. Памятник борцу с опиумом для народа, религией то есть. Вскоре после расстрела наместника обители открытие памятника и состоялось — с оркестром, парадом и пламенной речью вечно возбужденного Троцкого. Скульптура — фигура человека в натуральный рост, зловеще пригнувшаяся, грозящая небу воздетыми руками, лицо напоминало самого пламенного оратора. Памятник простоял две недели, а потом бесследно исчез.

— Уж не на постаменте ли вы сидите?

— Нет, конечно. На постаменте потом памятник Ленину стоял, но его тоже убрали, когда в монастыре образовали филиал ГУЛАГа, чтобы образ Ленина в тюрьме не находился; ну а когда филиал превратили в психушку, чтобы дурдом не возглавлял.

— Памятник Иуде?! — вскричал я. — Что за белиберда? Вы это сами только что придумали? Вы писатель? Литератор?

Поэты и писатели — в небольшой дозировке — на семинаре присутствовали.

— Я такое придумать не в силах. Тут совершенно другой, наособицу устроенный мозг нужен, чтобы не сказать: ум. Свидетельства очевидцев установки памятника существовали — мемуары датского дипломата Хеннинга Келера и писателя-эмигранта Вараксина.

— Может, они это сфантазировали?

— Есть такое мнение — ввали, ввали два антисоветчика. Ну, писатель, как вы понимаете, мог волю воображению дать, а датский дипломат? Дипломаты — шпионы большей частью и любят точность.

— А как их, с позволения сказать, в восемнадцатом году сюда на мероприятие занесло?

Молодой человек только плечами пожал.

— Тогда всех носило туда-сюда, мело по стране, как листья сухие ветром несет.

— Может, вы все же литератор?

— Журналист я недоучившийся.

— Вот видите.

В паузе по небу циркнул болид. Было тихо, только кузнечики почему-то стрекотали в траве, как на юге цикады; может, в качестве еще одного прислышания мирного, канувшего в Лету летнего дня.

Тут, под ноги посмотрев, оступившись, спросил я: а где же этих расстрелянных хоронили? Кладбища вроде на острове нет.

— Всех хоронили на косе. И красноармейцев, и заключенных. Коса на костях стоит. Хотя и в городе то там, то сям, когда пустырь расчищают или берег, черепа выкапывают.

— Заключенных?

— Я ведь уже сказал вам, тут один из пунктов ГУЛАГа находился. Заключенных погибло около пяти тысяч. В том числе князь Оболенский. Вечером, как у костра запели про корнета Оболенского (в полной невинности и незнании, кстати, запели), мне аж не по себе стало: ушел, в сарай с сеном завалился, уснул как убитый. Вот как раз проснулся, выпался, к хозяевам, где остановился, ночью идти

неудобно, сюда пришел, а тут и вы явились. Идите, отдыхайте, успокойтесь, не было сегодня никаких выстрелов ночных.

— А вы тут останетесь?

— Вернусь в сено, авось убаюкает оно меня.

Уходя, я слышал, как он молится вслух в монастырском дворе, этот странный недоучившийся журналист.

Песня на самом деле была про поручика Голицына, думал я (вот журналистская неточность), но корнет Оболенский действительно упоминался в ней дважды. Надо же, в числе царских воевод, задумавших и построивших Свяжск, были братья Оболенский и Оболенский-Серебряный, а их потомок в этом самом дизайнерском городе мира через пять веков погиб. Впрочем, вспомним хоть Шекспира, все это вполне вписывается в исполненную нелепой жестокости историю человечества.

Засыпая на своем сенике среди так и не проснувшихся от моего выхода и появления соседей, я слышал, как позванивают в ушах струны гитары:

Не падайте духом, поручик Голицын,  
Корнет Оболенский, налейте вина.

И уже из сна встречно подпели похороненные на здешней косе под названием Татарская Грива глухим, земляным, еле слышным хором:

Поручик Голицын, раздайте патроны,  
Корнет Оболенский, надеть ордена.

### **Первая скрипка на балу Воланда**

Говоря о Вьётане, невольно думаешь о Паганини. [...] С первой до последней ноты мы словно стоим в магическом круге, у которого нет ни начала, ни конца.

*Роберт Шуман*

Мы часто оказывались с девушкой по имени Нина на одних и тех же лекциях, вкусы наши во многом совпадали, судьба была к нам благосклонна. Но впервые сели мы рядом на выступлении человека со странной фамилией Времеонов. Доклад его назывался «Первая скрипка на балу Воланда». Роман Булгакова, для многих оказавшийся главной любимой книгой, привел в тот день в гимназический зал целую толпу. Докладчик, высокий, крупный, почти грузный, темнобородый человек, начал выступление почти с извинений.

— Выступление мое, — сказал он (и мы поняли, что он не только смущается, но и стесняется, хотя старается виду не подавать), — должно было бы проходить по разряду реплик, но поскольку я не музыковед, не музыкант, не литературовед и даже не искусствовед, а форменный дилетант, решено было считать его докладом из раздела «Путешествие с дилетантом», да к тому же реплика должна быть короче, цельнее и структурированней. Предварять мое любительское эссе должен был замечательный знаток музыки, музыковед, музыкант Петр М., но, к сожалению, он не смог сегодня приехать, поэтому впечатление ваше от личности, о которой пойдет речь, будет неполным; но я решил рискнуть. В главе романа «Мастер и Мар-

гарита», посвященной балу у Воланда и называющейся «Великий бал у сатаны», говорится об оркестре, аккомпанирующем всем действиям и танцам бала. Дирижер оркестра — король вальса Штраус, а первая скрипка — Вьётан.

«Глядите налево, на первые скрипки, — шептал Коровьев, — и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому, за первым пультом, это Вьётан. [...]

— Кто дирижер? — отлетая, спросила Маргарита.

— Иоганн Штраус, — закричал кот, — и пусть меня повесят в тропическом саду на лиане, если на каком-нибудь балу когда-нибудь играл такой оркестр. Я приглашал его! И, заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался».

Для большинства читателей, знающих текст романа чуть ли не наизусть, цитирующих его к случаю или просто из удовольствия процитировать, фамилия скрипача ничего не говорит. Тогда как мне по наследству от отца моего фамилия эта была очень даже известна, более того — отец переименовал свою, перевел ее на русский, вслед за отцом получил ее и я, мы единственные в мире ее носители. На французском, насколько я понимаю, *Vieuxtemps* не только что не частотное *nom de famille*, а просто уникальное, этимологию и происхождение отцу выяснить не удалось, неведомы они и мне. *Vieux* переводится как «старое, старые», *temps* — как «время». Но в сочетании, соединившись, они становятся сходны с какими-то невыразимыми *neiges d'entan* — прошлогодними снегами былых времен из стихов Франсуа Вийона, неведомым образом приобретая черты полусадов-полулесов, обводящих замок Спящей Красавицы с картинки в детской книге волшебных сказок Перро руки Доре. Отец мой, так же как и я, занимался переводами; вот и стою я перед вами и зовусь не Столетовым, не Старогородским, а Времеоновым — от «время оно».

Схожа с нашей только фамилия деятеля русской школы императорского балета Гедеонова. Но если мне было совершенно ясно и понятно, что за человек является первой скрипкой на балу у Воланда, я не понимал, почему он там и за что он там оказался.

Мой отец в детстве готовился к карьере музыканта: рано начал играть на скрипке и на рояле, проявлял недюжинные способности, однако жизнь решила иначе, превратности судьбы и травма руки сделали свое дело — отец стал врачом, но музыка осталась его главной любовью, он продолжал играть и на скрипке, и на фортепьяно дома, для себя, в библиотеке нашей было множество нот и биографий великих композиторов, матушка тоже была меломанка, ходили постоянно на концерты в филармонию, в консерваторию, брали и меня. Вьётан был одним из главных увлечений отца. До сих пор в доме моем висят два портрета мальчика-вундеркинда, гастролировавшего по Европе (четырнадцатилетнего, когда услышал его Паганини и воскликнул: «Он будет великим музыкантом!», и состарившегося, знаменитого композитора, исполнителя-виртуоза). Музыку его впервые услышал я из рук отца, с превеликим трудом доставшего и скопировавшего для себя (а тогда не было ксерокопий, всё переписывали от руки) вьётановские ноты.

Родился Анри Вьётан в бельгийском городе Вервье в 1820 году. Отец его, суконщик, был скрипачом-любителем и гитарным мастером. В четыре года Анри сочинил первую свою пьесу — «Песня петушка». В семь лет мальчик выступил в концерте с оркестром, потом гастролировал в Бельгии и Голландии, получил стипендию короля Нидерландов, уехал сперва в Брюссель, потом в Париж, гастролировал в Европе. В 1844 году Вьётан женился на пианистке из Вены Жозефине Эзер, были они счастливы, боготворили друг друга. Был принят в почетные члены Бельгийской королевской академии наук. Многочисленные гастрольные туры охватывали уже не только Европу, но Турцию и Америку.

Но особо поражало воображение отца моего, а затем и мое то, что с 1846 года Вьётан семь лет жил в Петербурге. Отец мой исполнял его «Воспоминания о России» и переложение для скрипки известного алябьевского романса «Соловей». В Петербурге работал он придворным солистом, выступал в качестве квартетиста, преподавал в консерватории. Общался с Глинкой, Даргомыжским, Серовым, Одоевским, Рубинштейном.

Впервые в Петербурге Вьётан организовал квартетные вечера, превратившиеся в абонементные концерты в здании школы за немецкой Петеркирхе на Невском проспекте. Он и не думал расставаться с Россией, но болезнь жены, не выдержавшей сырого, пронзительного петербургского климата, заставила его уехать. В Петербурге написал он свой самый яркий, самый новаторский и романтический Четвертый концерт в ре-миноре.

Однажды отец мой вычитал в книге Карновича, что жил в Петербурге — между Коломной и Перузиной — полковник русской армии Луи Христовул де Лузиньян, с фантастическим титулом, дарованным ему, генералу армии австрийской, императором Николаем Павловичем и переходившим в семье по наследству по мужской линии, — «король Кипрский и Иерусалимский». Тут же придумал отец мой, что де Лузиньян был на одном из концертов Вьётана: то ли привела его туда любовь к музыке, то ли волшебной звучащая фамилия скрипака.

Мы гуляли с отцом по местам воображаемых прогулок Анри Вьётана, и иногда казалось, что он идет вместе с нами, особенно в мягкие дни ниспадающего снега или в белые ночи.

Вот он идет, нетерпение велико, на ходу смотрит он в ноты: надо изменить третью часть; начинает падать снег, некоторые снежинки занимают места на нотном стане, ему смешно. Он прячет ноты за пазуху и бежит домой.

Шествовали мимо нас со скоростью пешеходной маленькие уютные андерсеновские особняки каналов Коломны, разворачивались площади, подчиняясь совершенно неуловимой своей геометрии, плескались воды каналов, такие разные с набережных и мостов.

Отец хорошо знал город, увлекался краеведением, настольными прикроватными собеседниками служили ему книги Лукомского, Курбатова, Анциферова, Пыляева, он рассказывал мне о Петербурге девятнадцатого столетия, и окрестные ведуты для меня приобретали глубину и цвет, точно проявившиеся переводные картинки.

Да, мне казалось: Вьётан идет с нами, чуть поодаль (думаю, и отцу моему тоже), его ладную невысокую фигурку обводил реющий снег.

Хаживали мы по кварталам вокруг консерватории, где жили музыканты, актеры, певцы и танцоры Мариинского театра, по Фонтанке и по Литейному, любили Польский сад, заходили во двор Строгановского дворца, обходили Петеркирхе, на площади Искусств отец рассказывал мне о Виельгорских, о концертах в их особняке, первом русском квартете, мы стояли в Мошковом переулке возле дома князя Одоевского.

Князь имеет прямое отношение к теме сообщения моего.

Князь Владимир Федорович Одоевский, автор любимого мной в детстве «Городка в табакерке», член-учредитель Русского географического общества, помощник директора Императорской публичной библиотеки, директор Румянцевского музея, последний представитель одной из старейших ветвей рода Рюриковичей, бывший в родстве со Львом Толстым, увлекавшийся в юности мистикой, Сен-Мартеном, средневековой натуральной магией и алхимией, был музыкантом и меломаном.

Друзья называли его «Русский Фауст». В одном из самых известных своих произведений — «Русские ночи» — он повторяет это прозвище и описывает свой образ жизни: «— Поедем к Фаусту.



Надобно предупредить благосклонного читателя, что Фаустом они называли одного из своих приятелей, который имел странное обыкновение держать у себя черную кошку, по несколько дней кряду не брить бороды, рассматривать в микроскоп козявок, дуть в плавильную трубку, запирать дверь на крючок и по целым часам прилежно заниматься, кажется, обтачиванием ногтей, как говорят светские люди. Комната его уставлена было ретортами, колбами, химическими реактивами, выращенными кристаллами, с угловой полки смотрел на входящих череп».

Когда Времеонов описывал на семинаре кабинет Одоевского в юности, я еще не был женат, а только собирался проводить Нину до дома в вечерней сиреновой тьме, ни детей, ни внуков; но теперь, вспоминая, я тотчас сравнил обстановку Русского Фауста с закутком нашей внучки Капли, где играла она в мадмуазель Немо, в великую путешественницу и таинственную героиню романа; Одоевский играл в алхимика, в пражского короля, в исследователя.

— Но что касается музыки, — продолжал докладчик, — меломан Одоевский был таким дилетантом, какие не всегда встречаются в профессиональной среде. Он превосходно играл на фортепьяно, изучал древнерусскую церковную музыку, изобрел новый музыкальный инструмент. То есть он воплотил свои идеи о музыкальном инструменте, соответствующем вокальному интонированию, и назвал его «энгармонический клавицин», в котором все квинты чистые, диезы, отмеченные красным цветом, отделены от бемолей. Отец мой собирался написать об этом статью под названием «Красный диез», но все откладывал, да так и не успел.

Инструмент был заказан у мастера-немца А. Кампе, жившего в Москве и содержащего в Газетном переулке фортепианную фабрику (унаследованную его дочерью Смольяниновой). В каждой октаве «клавицина» было девятнадцать клавиш вместо двенадцати. В настоящий момент инструмент хранится в Музее музыкальной культуры имени Глинки в Москве.

А ранее, в Петербурге, в конце 1840 года, по заказу Одоевского петербургский органостроитель г. Мельцель изготовил кабинетный орган «Себастианон», на котором играл и импровизировал сам Одоевский и его гости, в частности Глинка. Орган не сохранился.

Я полагаю, что появлению Анри Вьётана в роли первой скрипки мы обязаны отрывку из письма Русского Фауста Одоевского композитору Верстовскому, автору «Аскольдовой могилы».

Одоевский писал Верстовскому: «...не забуду я одного вечера, проведенного мною у графов Виельгорских; не было назначено музыки, но нечаянно сошлись Серве с Вьётаном; давно уже они не играли вместе; оркестра не было, нот также, гостей человека два-три. Тогда наши знаменитые артисты начали припоминать свои дуэты, написанные без аккомпанемента. Они поместились в глубине залы, двери затворились для других посетителей, между немногочисленными слушателями воцарилось совершенное молчание [...]. Наши артисты вспомнили свою фантазию на оперу Мейербера „Гугеноты“. Помнишь, как мы однажды смеялись, рассматривая „Волш. стрелка“, переложенного на две флейты; но здесь было совсем иное: [...] перед нашими глазами проходила вся эта чудная опера со всеми ее оттенками; мы явственно отличали выразительное пение от бури, которая вздымалась в оркестре, вот звуки любви, вот строгие аккорды лютеранского хора, вот мрачные, дикие крики фанатиков, вот веселый напев шумной оргии... воображение следовало за всеми сими воспоминаниями и претворяло их в действительность».

Полагаю, что Михаил Булгаков, с юности отчаянный меломан (особенно любил он оперы), несомненно интересовался и Одоевским, и Погорельским и про-

чел этот отрывок из письма, где описание «шумной оргии» из импровизации Вьётана и Серве совершенно совпадает со стилистикой сцены бала у Воланда. К тому же скрипач с виолончелистом импровизируют на тему Мейербера, как известно, автора оперы «Роберт-Дьявол». Еще мне кажется, что Булгаков мог слышать сонату для скрипки и фортепиано Тартини–Вьётана «Дьявольские трели» («La trille de diable»)...

Я подивился разве что тому, что в воландовском оркестре не сидит за роялем Ференц Лист, написавший три «Мефисто-вальса» и одну «Мефисто-польку» и в первом, самом известном из этих произведений звучит голос «дьявольской скрипки». Впрочем, не исключено, что если бы Михаил Афанасьевич смог закончить чистовую редакцию всех глав «Мастер и Маргариты», Лист сел бы в вышеупомянутый оркестр на место пианиста.

Мне остается только добавить несколько слов о скрипке Вьётана.

Сегодня скрипка любимого скрипача моего отца — и моего тоже — один из самых дорогих музыкальных инструментов в мире, она носит имя «Экс-Вьётан». Сработал эту скрипку легендарный скрипичный мастер Джузеппе Гварнери дель Джезу (Иисусов Гварнери), с 1731 года начавший помещать на свои скрипки монограмму JHS (Jesus Nominem Salvator — Иисус Спаситель Человечества). И может быть, именно эта невидимая монограмма (неизвестно, знал ли о ней Булгаков) незримо и анонимно удерживает от соскальзывания во мрак весь роман, поддерживает душу его и твою, читатель.

Мне остается поблагодарить вас всех за внимание и терпение к моему совершенно ненаучному и глубоко дилетантскому тексту.

Зал начал было пылко аплодировать, но послышался женский голос: «Подождите, постойте!» — и появилась улыбающаяся, раскрасневшаяся Тамила, за которой один из множества дизайнерских пажей ее нес магнитофон.

— Вам это с нарочным Петр М. передал, сам приехать не смог, только что на катере от него человек прибыл.

— Что это?

— Это запись магнитофонная, — на щеках Тамила цвели ямочки, появляющиеся, когда она радовалась и улыбалась, — тут музыка скрипача, о котором вы только что читали доклад. Садитесь, слушайте. Сейчас вы все услышите.

— Интересно, кто играет? — спросил я Нину.

Времеонов, услышав меня через головы издалека, ответил:

— Яша Хейфец.

Звучал, звенел серебряный голос королевы-скрипки, парящей над маленьким оркестром, заставляющий нас мечтать о несуществующем бытии на берегу одного из ночных озер. Как будто мы, находясь здесь и сейчас, уже вспоминали нынешнее мгновение. И хотя музыка эта была конечна, не было ей ни конца ни края, мы, причастные, слушали второе столетие, и наши дети услышат, и внуки, и внуки их внуков, потому что отворяла она нам всем пространства времен.

О симфония! Раскрывающая тайну добра и зла, несущая структуру Вселенной в раковины ушные людские! Тобою, скрипкой и оркестром твоим, говорит с нами Господь. А мы почти поневоле видим волну мелодии и прозреваем бездонную глубину марианских впадин контрапункта...

Пока проталкивались мы к выходу (толпа слушателей окружила Времеонова плотным кольцом), слышали мы, как отвечал он на вопросы.

— Среди фольклорных источников «Фантазии на славянские народные темы» Вьётана — плясовая песня «От Киева до Лубен» и протяжная «Не белы снеги».

— А где это — Лубны?

— Между Миргородом и Белой Церковью, — отвечал худой высокий художник из Полтавы.

— Кроме того, — говорил докладчик, — русские темы звучат в «Фантазии аппассионате». Ну, и в пьесах с цитатами Даргомыжского, Алябьева, Верстовского.

Наконец мы очутились у двери.

Ночное небо полно было звезд, напоминало небо юга.

Я провожал Нину, подсвечивая фонариком дорогу, главным уличным фонарем служила Луна, мне казалось, что мы знакомы давно, что провожаю я ее не впервые. Она жила в хозяйском доме, бывшем купеческом, с колоннами; собственно, хозяев было двое, две семьи, от одной из семей осталась одна хозяйка. Нина снимала у нее маленькую комнатку с лежанкой. Дом стоял на возвышении, на гребне холма, на купеческой улице, где остальные дома, каменные, находились словно бы за углом, улочка поворачивала. У дома два дерева вели долгие разговоры свои, угловая сосна и фасадная старая липа. Наверху дома представляло собой словно маленький фронтон с четырьмя колоннами балкона, под балконом поддерживали его четыре колонны поболее, на четырех прямоугольных постаментах. Купцы любили дома с колоннами: чем нелепей, тем лучше; их дома всегда играли в барские усадьбы, и то ли недоигрывали, то ли переигрывали.

По дороге выяснилось, что в детстве у нас были одни и те же любимые книжки, в частности «Животные-герои» Сетона-Томпсона с иллюстрациями автора.

— Я плакала, когда читала некоторые рассказы, про медвежонка Джонни, про Крэга — Кутенейского барана, про Снапа.

— О, — сказал я, — я тоже заплакал, а моя матушка, вдова, растившая меня одна и очень хотевшая вырастить настоящего мужчину, заругала меня: нюня, плакса, говорила она, прекрати немедленно. Я обиделся на нее, но потом, когда читал и слезы наворачивались, и не думал сдерживаться: кто-то ведь должен был оплакать Кутенейского барана и малютку Снапа, не только Сетон-Томпсон.

Тут нас обогнали Тамила с тащачим за ней магнитофон Энверовым, и она, и Титов остановились в одном из белых двухэтажных домов за углом; вероятно, дизайнерский паж растворился во мраке, и Энверов вызвался тащить магнитофон за нашей Кармен.

Мы долго болтали с Ниной у крылечка, потом, пожелав мне спокойной ночи, она исчезла, скрипнув калиткою (над забором цвел огромный сиреневый куст), а я, совершенно счастливый, развеселый, двинулся к своему краснокирпичному приюту, однако когда я увидел при всеобъемлющем свете Луны Тамилу с Энверовым, целующихся на косе, радости у меня поубавилось. Он что-то сказал ей, она рассмеялась, ночной воздух с его храмовой акустикой объяла волна, и тут заколыхались, обводя косу, белые фигуры призраков, туманные силуэты их. Я смотрел на эту картину, точно Левко на русалок. Их видел, должно быть, я один, зашлись лаем собаки, призраки пропали, я пошел восвояси с чувством глубокого сожаления, что к этому лету совершенно завершился, растворился начавшийся на прошлом сенежском семинаре роман Тамилы с одним из наших блистательных докладчиков, известным дизайнером, романтической фигурой: чего стоила одна эспаньолка, а уж книгами и статьями его мы зачитывались все, — а возник рядом с нею красавчик Энверов, которого и рисовать-то не хотелось. Откуда его только принесло, думал я, на лекции о Вьётане его мы не видели, музыка его не интересовала, хотя, может быть, явился он одним из последних, в последних рядах, привлеченный фигурирующим в названии балом Сатаны.

## Реплика о косе Тартари

Вот настал момент и мне, на манер наших семинарских, подать реплику, сказать несколько слов о Татарской Гриве, косе, которую называли мы с Ниной косою Тартари.

В давние годы, когда Свяжск становился островом во время паводков, чтобы потом снова стать холмом, Тартари называлась гривою, но после создания Камского (или Куйбышевского?) водохранилища в 1956 году она стала косою: ведь коса всегда отходит от берега, устремляясь в воды, а грива чаще всего длит свой протяженный хребет посуху.

Татарскую Гриву в народе называли Дорогой жизни: ее песчаная дорога соединяла остров с Большой землей и выходила на Сибирский тракт.

Зимой народ ездил на материк на санях, но безлошадная жизнь всех одолела вконец, и ко второй половине двадцатого века островитяне местные как-то приноровились скакать от берега до берега на «макаке» — на мотоколяске, к которой прикреплены три камеры от трактора. Так и прыгали, что у Сибирского тракта, что до Нижних Вязовых, то есть до железнодорожной станции Свяжск.

Перед ледоставом или ледоходом сушили сухари, запасались сахаром, солью, крупью, личных вертолетов не было, общественные сюда не летали.

В годы, когда Свяжск был сперва составной частью ГУЛАГа, а потом расположился на лагерной (и монастырской) территории сумасшедший дом, было очень даже кстати, что остров отрезан от мира.

Кладбища в городке не было. Прежде покойников везли на другой берег, плыл гроб в лодке, на пароходике. Расстрелянных и умерших в лагере и в дурдоме (новейшей истории) хоронили в братских могилах, в свальных ямах на косе Тартари. Когда до меня дошло, что Дорогой жизни называется это место на костях, на покойниках, мне стало не по себе.

Коса стояла полузатопленная, вдоль нее торчали из воды остатки полусгнивших столбов линии электропередачи, словно зубья ведьминых гребешков из страшной сказки о наших русских дао, русских дорогах сказочных персонажей: Ивана-дурака, Ивана-царевича, Василисы Премудрой и Василисы Прекрасной.

Но словно вселились в меня гоголевские есаул Горобец и гребцы его, плывущие по Днепру и видящие в сумеречные и ночные часы призраков прибрежных кладбищ; видел и я призраков невинно убиенных, зарытых на косе Тартари: в снах моих натуральных и во снах наяву.

Когда Татарская Грива почти полностью ушла под воду, остался от нее малый хвостик, отходящий от прибрежного песка, все множества скелетов оказались на дне, словно свидетели пиратских битв и кораблекрушений.

Почему-то Энверов с Тамилей постоянно встречались на косе Тартари, как зло, я регулярно проходил мимо, видел их, — не знаю, видели ли они меня, — и это производило на меня какое-то мрачное впечатление, оставляло на душе неприятный осадок, метило вечер тенью тьмы, глубже ночной.

## Байки от хозяйки

— На Руси спокон веку пироги пекли от бедности, — сказала хозяйка, придвигая ко мне большую тарелку с нарезанным пирогом и среднюю с горкой мелких пирожков.

Хозяйке нравилось, что я провожаю Нину до дома после вечерних докладов и заседаний, проводы теперь заканчивались чаепитиями, а за разговорами засиживались мы допоздна.

— Вот этот пирог с рыбою спекла я из хлеба.

— Как это?

— Корочку срезаете на сухарики, хлеб размачиваете, капелька дрожжевая, муки идет немного, начинка по вкусу, да вы ешьте, ешьте.

— Никогда не слыхал, чтобы пироги пекли из хлеба, да еще такие румянькие и вкуснющие.

— Мало что, — произнесла польщенная хозяйка.

— В доме моем, — говорила она, — а дому уже больше ста лет, разные купцы ночевали, семейство за семейством, родня, по женской линии после замужества фамилии менялись: Илларионовы, Бровкины, Медведевы. Когда советская власть началась, приехал красноармеец расстреливать Троцкий, так с балкона речь и держал, сначала о народном счастье, потом о беспощадности справедливости, потом про памятник Иуде. Говорят, он всегда с балконов речи говорил.

— Вот у нас в Питере, — сказал я, — на красивейший балкон особняка балерины Кшесинской забирался, оттуда и ораторствовал. Как испанка в мантилье кружевной, балконы любил. Говорят, говорил лучше всех. Толпа в полный столбняк приходила. Пламенно выкрикивал, рукой махал, очки сияли, словно искры из глаз сыпались. Но вот что сказал, час говоримши, никто не то что повторить, а даже понять не мог. Глаголом жег сердца людей. Прилагательными тоже. Ни одного матюга. Но лаялся при этом по-заводному.

— Некоторые врут, — сказала хозяйка, — что он в нашем доме и останавливался. Нет, останавливался он в богадельне, она каменная, а уж балкон-то наш наглядел.

— А для чего он приезжал? — спросила Нина.

— Войска вдохновлять. Чтобы Казань от белочехов освободили быстрехонько, а не отступили, как в этот раз.

— Вдохновил?

— А как же. Каждого десятого велел расстрелять: ничего личного, мы не против никого из своих, кто десятый случайно оказался, того и в расход. Если и после этого, сказал он товарищам своим, скорехонько Казань не возьмете, каждого третьего расстрелять велю. Ну, всех-то нельзя, кто же тогда других расстреливать будет.

— Подействовало?

— Взяли опять Казань, как при царе Иване Грозном. Он, видать, Троцкий-то, краем уха слыхал, что взятие Казани как-то с нашим Свяжском связано, сюда и приехал для усиления военных действий.

— Тень Троцкого меня усыновила, — продекларировал задержавшийся под окном, чтобы дослушать, ведущий под руку на косу Тартари Тамилу Энверов.

— Он еще и подслушивает, — сказала Нина.

— Так окна открыты, вечер тихий, — сказала хозяйка, — бывало, идешь, все знаешь, кто что говорит, кто чем дышит. Городок-то маленький, остров небольшой.

— А скажите, — спросил я, подцепив чудесный пирожок с ливером, — старинные призраки показываются тут? или только нашей новейшей истории, из расстрелянных, лагерных и психов, что на Татарской Гриве лежат?

Хозяйка пальцем погрозила:

— Откуда знаешь, что самоновейшие показываются, да еще и на косе? Сам видел? Никому не рассказывай. Даже и не заикайся. У нас тут не принято признаваться, если их увидишь. Дурной знак, плохая примета, игры не к ночи будь помянуты. Старинные призраки — это кто?

— Иван Грозный, например, — ляпнул я.

— Иоанн Грозный, — сказала хозяйка, — на скамеечке возле Троицкой церкви сиживал, скамеечка, говорят, та же, не гниет, не рассыпается. Зачем тут будет его призраком являться? Он в Успенском соборе в «Шествии праведников» среди святых при жизни изображен.

— До того, как сына убил, изобразили или после? — спросил я.

— Не знаю, не моего это ума дело, — сказала хозяйка.

— А отрок Угличский не является? — спросила Нина. — Царевич Димитрий? Свияжск ведь воеводины плотники срубили в угличских лесах.

— В лесах между Угличем и Мышкином, — поправила хозяйка, — ближе к Мышкину, во владениях бояр Ушатых. Нет, царевич никогда не являлся. Вот отрока видели.

— Какого отрока? — спросили мы с Ниной дуэтом.

— Варфоломея, должно быть, — шепотом отвечала хозяйка. И, видя по лицам нашим, что мы ведавать не ведали, кто такой отрок Варфоломей, пояснила нам, воспитанникам пионерлагерей и кружков ДПШ: — Когда заночевали воеводы в одном переходе от непокорной Казани, на высоком холме — останце Кара-Кермен, тут все было покрыто деревьями, сплошной лес рос на округлой горе (местные называли ее гора Круглая), с крутыми склонами и плоской вершиной. Рассказал им местный рыбак, что легенды ходили: мол, было тут некогда капище темного, злого, ветхого бога, злые духи кереметы обитали вокруг него, а потом стал в чаще невидимый колокол звонить, а по лесу ходить старец в белых одеждах, осеняющий остров крестным знаменем, и то был игумен Святой Руси преподобный Сергей Радонежский, защитник и заступник земли Русской, он остров освятил и отмолил. Когда воеводы отплыли, видели они на берегу отрока в белом, да и потом отрок являлся, только редко; стало быть, и был этот отрок Варфоломей.

— Стало быть? — переспросили мы с Ниной дуэтом.

— Да как же, ведь Сергей Радонежский до принятия схимы и звался в детстве отроком Варфоломеем. Он и являлся.

Тут вспомнил я картину художника Нестерова «Видение отрока Варфоломея», проходил я ее по истории искусств, однако не ведал, что изображен на ней Сергей Радонежский в отрочестве. Образование наше было хорошее, но несколько своеобразное, все мы в некотором роде были и оставались самородками.

— А уж потом, как возник в Свияжске Успенский монастырь, монахи это место, как могли, отмолили. В двадцать третьем году в целях борьбы с религией безбожники вскрыли раку с мощами святителя Германа, первого настоятеля монастыря, так тотчас такой смерч прошел, ни до, ни после не видали в наших местах подобного. А последнего настоятеля, епископа Амвросия Гудко, Троцкий расстрелял после расстрела красноармейцев: в полной тишине, замерло всё и вся. То-то, видать, капище радовалось в глубине земли, улюлюкало.

Тут она испугалась собственных слов, перекрестилась на темную икону в углу, за горевшей зеленой лампадкой, а мы с Ниной встали, я откланялся, поблагодарил за чай да за приятную компанию и соскочил с крылечка во тьму. Было тихо, безлюдно, луна начинала таять.

### **Реплика о признаках гениальности**

В тот вторник я побежал на мастер-класс по пропедевтике — курсу подготовки к занятиям композицией. Народу было много, желающих участвовать непосредственно хоть отбавляй. Педагоги по дизайну интерьера предлагали придумать

и склеить из бумаги небольшой модуль, из таких модулей на планшете собирали ограды, башни, вертикальные и горизонтальные объемы. Были и готовые наборы модулей, из которых желающие могли строить свой бумажный городок. Вспомнили (потаенно) детство, постройки из кубиков, жилые единицы для маленьких фигурок.

Отделение индустриал дизайна, «промышленной эстетики», предлагало на чистом листе в четверть большого листа ватмана создавать композицию из вырезанных из цветного (или черного) картона квадратов, кругов, треугольников, прямоугольников разного размера; надо было расположить плоские геометрические фигуры так, чтобы создать у наблюдателя ощущение спокойствия, тревоги, направить его внимание на какой-то один треугольник, создать листы статические, динамические, равновесных и неравновесных состояний.

Вдоволь наигравшись в пропедевтику, вспомнил я, что собирался заскочить на реплику о признаках гениальности, поскакал в указанный в программном вторичном листочке класс и явился к шапочному разбору. Докладчик, высокий, красивый военный врач, заканчивал свою реплику. Как ни странно, класс был полон. Войдя, я оказался среди стоящих; за мной вошел москвич, звезда дизайна, известный всем Г., в это лето расставшиеся с Тамилей, мы стояли рядом.

— Таким образом, — говорил лектор, — у женщин в геноме наблюдаем мы некоторый перебор мужских генов по отношению к среднестатистической норме, а у представителей мужского пола — преувеличенное количество генов женских. Разумеется, речь не идет о каких-то мужеподобных дамах и женоподобных господах, ничего подобного; но генная картина изменена, неравновесна. И это последний признак гениальности из перечисляемых. Благодарю вас за внимание. Задавайте вопросы.

Я так и не понял, была ли это его личная разработка, представлял ли он коллективную или предлагал вниманию собравшихся перевод одного из сообщений английского семинара, чем-то напоминавшего наш, но медицинского, с девиациями в сторону биологии, генетики, психологии, что ли.

Ему аплодировали довольно долго, потом приступили к вопросам.

Рядом с докладчиком, на боковых креслах у стены, заметил я и Тамилу с Энверовым.

Тут встала моя Нина и спросила (серьезно, она вообще отличалась серьезностью, ей в голову не приходило острить, зубоскалить, проявлять неуместный юмор):

— А что если признаки гениальности есть, а гениальности нет?

Зал рассмеялся.

Заулыбался и докладчик, взгляделся в Нину, картинно развел руками.

— Разумеется, такое возможно, — сказал он, — всегда отыщется какое-нибудь исключение, какой-нибудь казус, какой-нибудь входящий в противоречие с теорией и практикой организм, норовящий статистику испортить. Само по себе такое исключение ничего не значит. В худшем случае человек бывает уверен в своей несуществующей гениальности, по всем вышеупомянутым пунктам подтвержденной, — и злобится на окружающих, его гениальности и величия не замечающих. Тут открываются большие и малоприятные возможности — от психопатологии до античеловеческих отклонений разного рода. Но это уже не моя тема.

Энверов почему-то принял слова лектора на свой счет. У него было свойство быстро бледнеть: чуть свинцовым, голубоватым оттенком белого покрывалось красивое, смазливое лицо его, становясь еще неподвижнее, на мгновение превращаясь в маску.

Г., стоявший рядом со мною, тоже заметил реакцию Энверова, потому что все это время (рост ему позволял) неотрывно смотрел на Тамилу.

Он был старше и Тамилы, и меня, об Энверове, из молодых да ранних, что говорить. Я сообразил это в один из прошлых вечеров у костра. Пели песню Высоцкого

о книжных детях, я видел, как Г. слушал: книжные дети — это были мы (минус комсомольский божочек, нынешний Тамилин ухажер), а Г. помнил войну, пережил ее, голодал, жил под обстрелами и бомбардировками. Думаю, он иначе смотрел на жизнь. Я знал, что у Г. есть жена, поэтому роман его с Тамилей обречен, хоть он и любил Тамилу как-то заодно с дизайном — делом жизни своей, если можно так выразиться. В гомонящей толпе слышал я, как глубоко он вздохнул перед тем, как уйти. Дверь за ним закрылась, вопросы исчерпались, я подождал Нину, мы отправились посмотреть макеты мастер-класса пропедевтики, она еще не видела их.

### Этюд

— Ты женат? — спросила Тамила.

— Нет, — ответил Энверов.

— И не был?

— Нет. И не собираюсь.

— Почему?

— Ну, сперва жена куда ни шло, а потом она детей захочет, а я их терпеть не могу.

— За что?

— За то, что поселяется в доме такое маленькое, вонючее, заполняет квартиру, весь белый свет, все время. Да мне от одной мысли о гаженой пеленке мутит.

— Я поняла, — сказала Тамила. — Сблевать не сблюешь, а стошнит обязательно.

— Что?!

— Ой, это с другой страницы. Я хотела сказать: стошнить не стошнит, а сблюешь обязательно.

— Ты что говоришь? Что за хамские выражения слышу я из дамских уст румяных?

— Это цитата из великого произведения Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки».

— Какие кретинские книги читают наши пресловутые книгочеи! Кстати...

Как всегда после «кстати», вплетал он нечто, что было некстати вовсе и к предыдущему разговору отношения не имело.

— Кстати, вот я все хочу спросить: что такое «дизайн»?

— Художественная конструйня, — отвечал я с косогорчика. — А говорить надо не «пресловутые книгочеи», а «грамотеи фиговы».

— Это еще кто? — Энверов нахмурил красиво отрисованные соколиные брови свои. — Что ты тут делаешь?

— Этюд пишу.

Тамила тут же побежала посмотреть.

— Иди сюда! — воскликнула она. — Этюд-то хороший. Вон какой прелестный цвет небесный над крышами.

— Я не специалист по цвету небесному, — сухо промолвил Энверов.

— Он у нас специалист по маленькому и вонючему, — сказал я.

— Ты еще и подслушиваешь?

— Что ж тут подслушивать? Орете, как в рупор, громкость не регулируется, городок мал, остров невелик, всем слышно всё и всюду.

— Пойдем, — сказала Энверову Тамила, — сейчас катерок подойдет к пристани, мне ребята шампанское проспиренное привезут.

Они убыли по узкой неровной улочке, навстречу попался им Г., элегантный, в легкой спортивной курточке, с легендарной эспаньолкой. Он церемонно раскланялся с Тамилей.

— Почему он на тебя так смотрел?



- Как умеет, так и смотрит.
- Он что, клинья к тебе подбивает?
- Да какие клинья, — сказала Тамила, — какие клинья, я с ним жила три года.
- Ч-черт! — выкрикнул Энверов.

Он сказанул бы и хуже, но почему-то сдержался. Тут выкатился им навстречу заводной чертик на лисапете с трубою, махавший цилиндром, сопровождаемый группой любителей заводных игрушек или авторов оных.

Чертик попал на дорожную выбоину, свернул с пути, слетел бы с возвышенного бережка, да я успел его подхватить.

Сложив этюдник, собрав манатки в холщовую сумку, пошел я вдоль берега к Ниному дому. Поскольку остров был округл, куда ни пойдешь, налево или направо, путь вел именно к ее дому с двумя деревьями, липой и сосной. Но левая дуга никогда не была равна правой, неважно, откуда движешься, на длину дуги влияла не только отправная точка, но и рельеф, и застройка, и степень извилистости стежек с дорожками да бездорожных прибрежных трав, и то, что против часовой стрелки остров обходить всегда было легче, чем по часовой.

### Трактат обо всем

— «Раньше я ничем не интересовался, теперь меня интересует все, я увидел все не сразу, уже научился я ходить и немножко знал слова, пел без слов, знал, как называются мои ноги, руки, голова, глаза, уши, рот, нос, волосы, пупок, но словно я все еще находился в утробе матери, как до поры находились в нашей кошке котятка, в собаке щенята, в корове телок, как цыпленок сидит в яйце, а вокруг защитный мешок, вокруг цветные пятна, многое на ощупь, но ни слов, ни того, что называют „глаголы“, иногда видишь волны, как на отмелях свей, рябь, только мелькнет над отмелью еще один отмелёк, уйдет к невидимому дну еще один глубиноид, а твоя срединная жизнь тебе не дается, матушка, у которой я так отчасти в утробе и сидел, не любила меня, не понимала, как из нее такое могло народиться, я не походил ни на братьев, ни на сестер, хотя внешне мы были чуть-чуть похожи, посторонние тут же угадывали, что я им брат, зато отец меня любил, и из его любви постепенно стало возникать всё, впервые в ту летнюю ночь, когда я не спал, кричал, бегал, и мать, устав, тоже стала кричать и сходить с ума, тогда отец вытолкнул меня в наш внутренний санный двор и запер дверь на засов. Я продолжал бегать, биться, орать, но сено пахло отцветшей сушеной разной травой, полевыми цветами, я не мог даже синяка на лбу набить, вокруг было мягко, шуршало, я устал, лег на спину, глянув вверх, увидел, сколько там звезд, окруженных высокой рамой стебельков, еще не съеденных коровой, и с этого началось всё, оно началось со звезд и трав, а потом стало прирастать, и продолжает, и пока я живой, будет прирастать, потому что в человеке всё может вместиться только помаленьку, по чуть-чуть, постепенно, в разные дни в разных количествах, иногда это день зеленого трилистника, окруженного ярко-белым снегом, если весна, а если путешествие и лето, получится море океанского размера, даль из волн, облаков, обещаний своей земли, еще не виденных чужих мест, но в другой раз все прирастет старой кофемолкой, будешь крутить скрипящую ручку, молоть зерна для кофия, почуввав запах колониальных исторических земель, где так тепло вокруг плантаций, где пальмы, сезон дождей, ночные бабочки больше птиц, а колибри меньше наших стрекоз, где берег океана с мелким теплым песком, а в океане и его теплых морях есть медузы, дельфины, морские коньки, вдруг настанет тебе момент догадаться, что морской конек — это Пегас, малютка бог поэзии, а под шорох набегающей волны ты поймешь цезуру, паузу, вздох в стихах Гомера и всех поэтов всех времен на Земле, вот учили тебя, учили, то отдельно, сё отдельно, а настанет мгновение чудное

разломанную картину складывать из кусочков, из пазлов, все начинает сходиться, находить свое место, гуляют короли старинные по разным странам, этот пазл — золотая корона, а соседний маленький насекомый комар, а тот золотой выпал из золотых волос сказочной Златовласки, а насекомые цифры играют в свой муравейник, его столбики, задачи, примеры перестали тебя пугать, ты узнаешь их в номере дома, где твоё жилище, в числе, месяце, годе своего рождения, в сантиметре, если тебя измеряют им, чтобы справиться тебе пальто или новые штаны, тебе уже не хочется плакать и приставлять к ногтям их похожие на лунные полумесяцы острижки, когда стригут себе ногти и у тебя есть кот, собака и соловей императора в книге, а завтра будет новое сегодня перед новым завтра, и опять тебя обступит все все все все все все все все все, а теперь я поставлю временно подпись свою, закончив этот трактат обо всем, а завтра или послезавтра начну новый...»

*Эрик...*

Эрик был тридцатипятилетний аутист, вышедший из аутизма к тридцати двум годам, его большая фотография висела в классе, где переводчица трактат читала. Эрик был швед, ученик известной Ирис Ю.; тоже выйдя из аутизма, она работала с аутичными детьми, в том числе с Эриком, которого привели к ней неговорящим, перепуганным, казавшимся пятилетним. Автор трактата смотрел нам в глаза, рука-витаера доходили ему до кончиков пальцев, на плече у него сидел хомячок.

После подписи Эрик всегда ставил многоточие.

### **Хозяйка и художник**

Вечерами после чая мы играли с Ниной и с хозяйкою в карты на деньги: в «пьяницу», в «Акулину», в «Фофана» и во «Всеобщий пасьянс»; на кон ставили копейки. Я ходил из семинара в семинар и всех просил мне этих копеек побольше поменять. В результате собрал чуть ли не на монисто. Потом, через несколько лет, да чуть ли не через десять, я и впрямь сделал к Новому году для Нины монисто, стерев надфилем копеечные рельефы.

В тот четверг устроил я себе окно в слушаниях, написал этюд, показавшийся мне удачным, явился к Нине с этюдом, не то похвастаться, не то порадоваться, хозяйка тоже увидела работу мою и неожиданно вскричала, почти повторив слова Тамилы: «А какой цвет-то небесный на самом верху над облаками!» Я подивился ее живописному чутью, а она сказала:

— К нам ведь часто художники приезжают, и теперь, и в прошлом веке ездили, а один у меня останавливался и сперва просто работал, а потом разговорились, он мне много чего рассказал, а уезжая, один пейзаж свой подарил. Человек был необычайный! А какой художник! А жена его, что за ним приехала, тоже чудесная художница была, ни на кого не похожая.

Карты в тот вечер и не доставали, все чайная наша церемония посвящена была этому художнику, о котором я прежде не слышал.

— Сначала только здоровались, тихий, немногословный, мы незадолго до отъезда его разговорились. Писал он левой рукой, я думала, он левша, но в жизни обычной он ел правой и дрова колотил правой, так что и вторая мысль моя — мол, фронтовик, после ранения правую руку щадит тоже оказалась неправильная.

Он объяснил мне: правая рука у него испорчена академической реалистической школой, так хорошо его в Академии художеств выучили, что рука сама автоматически рисует и пишет, как положено, так и называлось, как у музыкантов, «руку

поставить». Я, сказал он, ученик одного великого мастера, которого в глаза не видел, мастер умер от голода в блокадном Ленинграде, при жизни его не признавали, говорили, что он формалист. Что такое формалист, — спросила я, — а он ответил: большое значение форме предметов придавал и форме изображения их, тогда как у нас в официальном государственном живописном искусстве считалось, что форму изучать раз и навсегда надо в студенчестве художнику изъяснить, какой научили, такая и правильная, главное — социалистическая идея произведения, формально все должны выражать ее одинаково, никакой такой формы своеобразной в природе как бы не существует. Как же так, — спросила я, — ведь, куда ни глянь, у всего форма своя, можно и потрогать, на ощупь полуслепому понять, о камень или об угол стукнешься, паутина паучья невесоомая, одуванчик вот-вот разлетится на семена, но и его в руку возьмешь, если успеешь, а облака вообще не пойми что, а ведь видно, одни круглые, пухлые, другие как птицы волшебной с великих высот перышки.

Он очень обрадовался, что я так сказала, прямо развеселился. Видя, что он оттаял, спросила я: как же он учился у художника, который ко времени обучения умер? А мне, отвечал он, книга о нем попалась, где мысли его прижизненные ученики пересказывали, много репродукций его работ было, а также работ учеников; называлось его направление — аналитическое искусство, сначала подумай, помысли, а затем изображай, а рука моя правая думать не хочет, рука набита, со своей глупостью и халтурой вперед лезет, стал я, сказал он, переучиваться и левой рисовать.

Нравился ему балкончик мансардной комнатки, где он обитал, я рассказала ему: Троицкий, мол, некогда на балкончик выходил, пламенную речь народу говорил, все околдованные стояли. Художник мой и тут развеселился, заговоренный, говорит, стало быть, балкончик, надо бы мне на него выйти да народу крикнуть: «Люди! Любите аналитическое искусство!» — и все любят.

— Это вряд ли, — сказала я.

— Я, как он уехал, думала: может, ему со своим обращением надо было на другой балкончик выходить, в городе родном, балкончик особняка известной балерины, царской полюбовницы, тогда бы, возможно, и его художественное начальство возлюбило работы учителя моего художника, а также картины самого призвавшего возлюбить.

— Нет, это невозможно совершенно, — сказал я, — у них не только рука набита, но и глаз тоже.

— Глаз бывает только подбит, — заметила Нина.

— Глаз бывает замылен, — возразил я, — и смотреть можно на свежий глаз и на несвежий, тухлым взором, нездешним, неживым.

— Несвежий глаз у тухлой рыбы, — вздохнула хозяйка. И продолжала: — Кроме работ своего великого учителя, любил он особо еще одну картину, возил картинку, с нее напечатанную, с собою и из-за нее к нам и прибыл. Репродукцию эту он мне подарил, увидите, она у меня рядом с его пейзажем висит. У нас места особенные, заговоренные, остров волшебный, воды вокруг в слияние играют, сливаются Свяяга со Щукой, впадают в Волгу, и еще между ними Щучье озеро. На острове нашем, кроме Ивана Грозного, побывали царица Екатерина Вторая, царь Александр Первый, Радищев, декабристы, Герцен, Достоевский Федор Михайлович, граф Лев Толстой, множество художников, в том числе написавший любимую картину художника моего Левитан. Картина называется «Озеро. Русь», написал ее Левитан и вскорости умер. На картине озеро, справа плавни, слева в глубине остров наш со Свяжском, а главное — вода, а над озером большие кучевые облака, а от одного облака на берег острова нашего падает тень.

И вот моему художнику рассказали, что тенью Левитан пометил особое зачарованное место: кто туда придет, там побудет, получает особый дар провидения, особое зрение, и желания его, если задумает их там, исполнятся.

— Кто же ему такое рассказал?

— Какой-то... Как это... Экстра...

— Экстрасенс? — спросила Нина.

— Да. Это кто ж такой, кстати? Вы знаете?

— Экстрасенсы, — сказала Нина сурово, — это жулики, мракобесы и доморощенные маги.

— Не все, — вступился я.

— Нет, все.

— А как же старцы монастырские? — спросил я. — Ведь они были ясновидящие, целители, великая сила в них была.

— Ясновидящий одно, — упрямо сказала девушка моя, — а экстрасенс другое.

— Не спорьте, — устало сказала хозяйка, — мой-то художник мудрый, у него талант от Бога, он ничем жулика слушать бы не стал. Знающего слушал.

— Есть знания, — сказала Нина, — которые человеку вовсе не нужны.

— Художник мой, — продолжала хозяйка, — все хотел это место, куда тень облака на картине Левитана упала, отыскать. Каждый день брал лодку, отправлялся, да все точку не находил. В Левитановы времена остров был то остров, то холм среди оврагов и лугов речных, а теперь и плавней правого угла «Озера» не отыщешь.

Он говорил: есть в десятилетиях день и мгновение совпадения всего — течения воды, скорости ветра, положения солнца; такое же облако так же поплывет, и туда же падет тень от него.

Сын у художника болел, болел мальчик, думаю, в волшебном месте бережка хотел художник исцеления для него просить.

Стали у него получаться особо хорошие работы, он был радостный, надеялся; а тут его собрат по живописи из Ленинграда прибыл с другими вестями.

Моего художника ни одной работы закупочная комиссия не купила, ни одного заказа ему не дали, сказали, он теперь формалист, ученик формалиста, а какие надежды подавал, как хорошо начинал. Так что остался художник наш с семьей без средств к существованию.

Вестник недобрый обратно уехал, а художник запил, что стало для меня полной неожиданностью. Что я, пьющих не видела. Но он-то буйным не становился, только задумывался все больше и больше говорил. Я хотела его остановить, уговорить. Говорю, зачем вам дурь такая? У нас и так вокруг все пьют.

— Пьют? — сказал он. — Ну, пьют-то пьют, но еще и выделяются. Артистичный народ-то. Вроде хлебнул — и самовыражайся. В случае чего скажут: «Спьяну». Да они и трезвые такие же. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Утром соседи прибежали, заberi, говорят, постояльца из лодки, отплыть не может. Бегу, а он у берега отчаянно гребет, а нос-то лодки на берег смотрит.

К середине дня приехала за мужем жена художника. Звали ее Метта, родом она была из Прибалтики.

Чудо что за женщина. Едва вошла — в комнате светлее стало. Где только такую нашел.

Она с собой альбом квадратный привезла, французский, что ли, собиралась побыть дня три, поработать, а как мужа увидела, раздумала, нет, говорит, едем завтра, а я ее попросила — можно ли мне ее работы посмотреть, разобрало меня любопытство. Конечно, говорит, невелик секрет, улыбается, волосы золотистые в скобку, глаза светлые, прозрачные, улыбка солнечная. И, верите ли, у меня эти ее неболь-

шие работы в глазах по сей день стоят, такая в них была красота, а работы как будто чуть-чуть детские.

Развязала она припасенный пакет со сбором трав, мне неизвестных, по запаху учуяла я разве что мяту, тархун да тимьян, мужа до вечера отпаивала, наутро встал он трезвей трезвого, как стеклышко, и уехали они, она грести сама взялась, отдыхай, говорит; я говорю: не так близко вам плыть-то, а она говорит: да мы сколько лет почти по полгода в Старой Ладого живем, там все время на лодке, мне, говорит, легко. Бывают такие женщины, им все легко, и с ними легко. «Как же вам лодку вернуть?» — «А ничего, я вам объясню, на каких мосточках привязать, мне потом пригонят». Долго я им вслед смотрела. Художник мне рукой помахал. Я ее еще спросила: как же так, у него такие пейзажи хорошие, работающий, почему же с ним так начальство обошлось? а она ответила: что делать, фашисты они, сами того не ведают.

Как уплыли, дождь пошел, шел десять дней. А мне он одну свою работу подарил, потом сосед к ней раму сделал из ломаных золотых рам бывшего клуба с того берега, хотите, покажу?

### Комнатка

Комнатку с лежанкой, в которой висела дареная картина, как раз Нина и снимала. На лежанке красовался полосатый половичок из разноцветных тряпочек, два похожих на полу. На левой стене висел ряд портретов, взглядевшись, я чуть не расхохотался, но сдержался, по счастью. То были репродукции из «Огонька» и неведомых мне, канувших в Лету дореволюционных изданий, компания престранная: Иван Грозный (по счастью, не репинский, убивающий своего сына, жуткая картина, я ее боялся с детства, — а в роли Грозного из кино артист Черкасов), Екатерина Великая, Александр Первый, Радищев, крупное фото медали с профилями повешенных декабристов, Лев Толстой рядом с лошадью, Достоевский (портрет Перова), Пушкин Кипренского рядом с лирою, Левитан с репинского портрета.

Увидев, что я перед этой галереей обмер, хозяйка не без гордости пояснила:

— Всё гости нашего города. Вот только Герцена не нашла, не знаю, где взять. И Троцкого нету, мне он ни к чему. Скажите, а правда ли, что его в Бразилии мексиканец-коммунист ледорубом убил? Я не понимаю, где же он на такой жарнице с кактусами ледоруб взял?

Странные вещи занимали умы сограждан моих. Картина хозяйкиного художника, обрамленная поталевым самоварным золотом правительственных портретов, зеленовато-синей листвой деревьев, лиловыми тенями, темными избами, граненым предгрозовым небом, и впрямь была хороша. Я не видел в ней особого сходства с Филоновым, не видел «формализма», но у начальства от искусства глаз был наметан на все живое, особой оптики: не о чем говорить, понять невозможно, почувствовать тоже нельзя.

У окна стояла раскладушка, покрытая ситцевым одеялом, на тумбочке в углу светился букет сирени, на плечиках у двери висела Нинина одежда, на двери прикреплена была узкая длинная икона, судя по петлям сбоку — часть трехстворчатого триптиха или двустворчатого узкого шкафчика. У святого на иконе на голове была плетеная корзинка, а нимб напоминал огромную, полную луну, святой стоял босиком на непонятной формы плотике; вокруг него до горизонта простирались воды; на руках держал он овцу, чье узкое неовечье лицо повернуто было к молящимся, то есть ко мне; овца глядела неотрывно.

— Кто это?

— Спиридон Тримифунтский, — отвечала хозяйка, крестясь, — на плаще своем пастушеском море переплывает, нашел свою заблудшую овцу.

Стучали в окно.

— Молоко привезли! — вскричала хозяйка. — Пойдем, Нина, поможешь мне.

Они убежали, я остался один.

Тишина и свет комнатки объяли меня. Я вспомнил слово «светлица». Светлица, светелка: ярко-белая, недавно выбеленная печь, обои наклеены наизнанку; светлые, без рисунка, белые занавески, и Нинино платье, висевшее на стене, тоже было белое, с редкими блеклыми колокольчиками.

В тишине и белизне меня осенило моментально: хочу, чтобы Нина была моей женой, хочу жить с ней всю жизнь, хорошо бы было жить именно тут, но раз это невозможно, хоть где угодно, например, в нашем с ней городе родном.

Она появилась в дверях, неся пол-литровую баночку с молоком, как-то смешно ее держала, обхватив ладошками.

— Нина, — сказал я, — выходи за меня замуж.

Мы стояли в светелке неподвижно, она смотрела на меня, в первый момент от неожиданности не поняв моих слов.

— Мы ведь только что познакомились, — сказала она. — Ты меня совсем не знаешь. И я тебя.

— Чтобы познакомиться, — сказал я, — у нас вся жизнь впереди.

Все, что я ей говорил, было сюрпризом не только для нее, но и для меня самого.

— Ты только не говори «нет», — продолжал я, словно произнося текст выученной роли, — подумай, думай, сколько хочешь, ну, не год, конечно, да хоть три месяца, хоть пять, а потом ответь «да».

— Обычно за девушкой ухаживают... — сказала она несколько неуверенно.

— Буду, обещаю.

— Цветы ей дарят, знаки внимания оказывают...

— Конечно, — сказал я. — Все впереди.

— В любви объясняются...

— Я объяснюсь, вот только слова подберу, пока ты думаешь. Если хочешь, приедем в город, буду просить твоей руки у твоих родителей.

— Я сирота, — сказала Нина.

— Ну, как вам молоко? — спросила хозяйка из сеней.

Тогда я взял из Нининых ладошек банку с молоком.

— Осторожно, — сказала Нина, — налита с верхом.

Я загадал: если выпью, не пролив ни капли, она согласится.

Ни капли не пролил.

И сказал хозяйке за дверь:

— Лучшее молоко в мире.

## Пляж

Ночью не спалось мне, дождался я утра, пошел с этюдником куда глаза глядят; впрочем, было мне известно: тут, куда по берегу ни пойти, придешь к Нинину дому. Утро было теплое, день ожидался жаркий.

На узкой прибрежной полосе пляжа под высоким срезом бережка на покрывалах узорчатых загорали Энверов и Тамила. «Интересно, — подумал я, — всем они так постоянно попадают или только мне?»

— Да ты и сама знаешь, — говорил он ей, — что есть существа высшие, а есть низшие, и мы с тобой принадлежим к высшей касте. Я по роду занятий, своих и родителей, по происхождению, а ты по природным данным.

— По природным данным? — переспросила она его почти механически, думая о чем-то своем.

— Ведь не у всех, — отвечал он, — такие округлые плечи, бедра, грудь при тонюсенькой талии, например. Не у всех такая потрясающая походка, ты ходишь, как танцуешь.

— А что такое низшие существа? — спросила она.

Я ответил с высокого бережка:

— Амебы, дафнии, простейшие, инфузории.

— Черт, он опять идет на свои этюды, — раздраженно промолвил Энверов, — следит он за нами, что ли? Может, ему врезать? Я какой только борьбой не занимался.

Тамила встала, сказала мне:

— Да иди уже ты на свой пленэр.

А потом ему:

— Здесь ни к кому со своей борьбой не лезь. Тут интеллигентные люди собрались, ты понял?

И пошла к воде.

Мы оба глядели ей вслед, смотрели, как идет она танцующей походкой, высоко держа красивую, коротко стриженную головушку свою. Она вошла в воду, поплыла, порывисто взмахивая руками.

Едва отошел я, как попался мне еще один зритель Тамилиного купания, человек, произносивший реплику про Гурджиева, по фамилии Филиалов. Он стоял как вкопанный, поздоровался со мной, не отводя глаз от плывущей.

— Какой, однако, неподходящий спутник у этой прелестной девушки, — сказал Филиалов.

— Вы с ним знакомы?

— Я таких видел не единожды. Они все одинаковы, но этот много хуже остальных. Я имел возможность хорошо его разглядеть и вслушаться в слова его, он очень интересовался Гурджиевым, по поводу гурджиевских сочинений, метода и личности как таковой, со мной не раз и не два общался. Еще интересовался он Фаустом, магией и собственно сатаной, — тут Филиалов усмехнулся (мне показалось — не к месту).

— Вы думаете, он из тех, кто мечтает сатане душу продать? Или уже продал?

Филиалов, отведя взор от выходящей из воды Тамилы, посмотрел на меня. Я не увидел бликов в глазах его, мне это не понравилось.

— Полно, молодой человек, — сказал Филиалов, внезапно повеселев, — чтобы продать душу дьяволу, нужно, как минимум, иметь душу.

Тамила выходила из воды, мокрая, обведенная солнечным светом, Энверов шел ей навстречу с махровым полотенцем.

— Через день, — сказал Филиалов, — я читаю лекцию о механизмах, заводных игрушках и просветительской философии механицизма. Приходите. Кстати, думаю, что и этот поклонник прекрасной нашей Тамилы явится всенепременнейше. Если захотите, станете в начале лекции моим пятиминутным ассистентом, поможете с курочками и лягушками.

— С какими курочками и лягушками?

— С заводными. Будем их, знаете ли, ключиками заводить. У меня их много. Целая орда.

Слегка прихрамывая, он удалился.

А я, выбрав самый старый, неказистый, покосившийся сарай, только и успокоился, написав серебристые крыла выдавшей виды крыши. Сарай на моем этюде растворялся в зелени, в воздухе, совершенно утерять светотень, объем, вес, не о них думал я в то утро, а о любви.

### Девять рядов до Луны

Актовый зал женской гимназии, служившей мне гостиницей, набит был под завязку, желающих услышать доклад об основоположниках дизайна как такового оказалось более чем достаточно. На сцене стоял высокий столик для докладчика с высоким канцелярским стулом, напоминавшим сиденье в баре (бары видели мы в кино и в журналах вроде «Domus'a»), висел экран, ждал своего момента диапроектор, но начало непривычно затягивалось — по обыкновению, все сообщения начинались у нас с самолетно-вокзальной точностью. Зал уже зашумел, зарокотал, когда вышел один из координаторов нашего семинарского действия и произнес:

— К сожалению, докладчик по заявленной в программе заседаний теме «Девять рядов до Луны», всем нам известный советский теоретик и популяризатор дизайна, не смог сегодня приехать, мы приносим всем вам, дорогие слушатели, свои извинения. Однако решено было доклад не отменять, поэтому сейчас на близкую несостоявшемуся сообщению тему перед вами со своим эссе выступит Тамила Николаевна Доренко из Ленинграда.

И вышла Тамила, в лиловом шелке, темном бархатном узкоплечем пиджачке, с пылающими щеками.

— К сожалению, — так начала она свое выступление, — я не знакома с полным текстом докладчика, вместо которого придется вам послушать меня, хотя реферат его я читала. Как вы догадались, очевидно, по названию, в большой мере речь должна была пойти о Бакминстере Фуллере, авторе известнейшей статьи «Девять рядов до Луны», о котором уже говорил перед вами Александр Сергеевич Титов, а также о других великих архитекторах, ставших основоположниками дизайна: Петере Беренсе, Вальтере Гропиусе, Мисе ван дер Роз и Ле Корбюзье.

Фуллер, признанный гурӯ новейшей архитектуры и дизайна, автор понятия «синергетика» (которая тоже нашла свое отражение в пределах программы наших семинаров), увлекался разнообразными парадоксальными статистическими выкладками и оставил нам, кроме своих блистательных разработок, ряд весьма оригинальных книг; я перечислю некоторые из них: «Четырехмерное время», «Похоже, что я — глагол», «Интуиция», «Послание детям Земли», «Тетрасвиток», «Космический корабль Земля; техническое руководство».

Но поскольку сообщение мое возникло неожиданно для меня самой, граничит с импровизацией, я изложу вам свою, совершенно женскую версию рассказа о наших великих путешественниках, связанную с женщинами, с их спутницами, теми, о которых мне, волею судеб, известно.

Зал притих, все навестили уши, в первых рядах вытянулся в струнку (а он и так держался как аршин проглотил, выправка от природы) ее бывший возлюбленный, должно быть, она сочинила это свое эссе о женщинах и дизайне, думая о нем, о своих мечтах, что вот будут они вместе, единомышленники... ну, и так далее.

— Бакминстер Фуллер, — продолжала Тамила, — подсчитал, взяв за основу средний рост человека, равный ста семидесяти сантиметрам, что если люди встанут, как в цирке гимнасты, на плечи друг другу, то человечество образует девять рядов до Луны. Некогда, когда людей на планете было меньше и рядов было меньше,



а к концу двадцатого века и началу двадцать первого число их может дойти до двух десятков; но во время написания фуллеровской статьи рядов было семь, в них входили и наши герои, а также их женщины, о которых я сейчас расскажу.

И поскольку начали мы с названия доклада, оно же — название книги Фуллера, не по хронологии, не по порядку, но в честь Баки, как его называли, я начну с его дочери и его жены. Потому что мое эссе — о дизайне, о жизни, смерти, ревности и любви.

Щеки ее пылали, сиреневый куст на ветерке стучался в окно, словно хотел войти, потому что знал, как и все мы, что Тамила возникла из сирени.

— Волею судеб, — продолжала она, — я читала, что время дискретно, мне объясняли смысл слова «дискретно», но по-настоящему поняла я и утвердилась в этом свойстве времени на примере виденных мною фотографий Ричарда Бакминстера Фуллера. Сначала полумальчик-полуюноша, гимназический отрок, потом красивый молодой человек, спортивный, с высоко поднятой головой. Промелькнул было портрет между молодостью и зрелостью: волосы тронула седина, лицо еще то же — и все. Дальше изображения исчезают. Баки выныривает из времени в пятидесятые уже в старости: седой ежик волос, гуру, морщины, монументальные черно-белые портреты, одно цветное фото — два старых человека — с улыбающейся Энн.

В конце двадцатых годов, когда был он безработным, неудачником без средств к существованию, когда его красавица жена родила вторую дочь Аллегру, а первая любимая доченька Александра умерла, годовалая, от воспаления легких, и он винил себя в ее смерти, потому что жили они бедно, неустроенно, в жалких холодных мебелирашках тесного пыльного района Чикаго... Он сначала запил, а затем хотел покончить жизнь самоубийством.

И впечатление такое, что он действительно покончил с собой: он исчез, пропал, верите ли, ни одного фото в зрелости. Вернулся под старость.

Студентом он был лихим, его то отчисляли, то собирались отчислить, за ним водились донжуанские подвиги, он знакомился и на пари заводил романы с модистками, хористками, девочками из варьете. В 1914 году он познакомился с Энн Хьюлетт, красавицей, она была легкая, тоненькая, ему по плечо, а эти шляпы с полями, глаза из-под полей кинематографических... В 1917 году они поженились и, прожив вместе шестьдесят шесть лет, умерли в один день.

Находясь на грани самоубийства, он вдруг приходит к мысли о нелепом эксперименте, задумывается: что может сделать один человек, надеясь только на свои силы, для блага всего человечества, ни больше ни меньше. И опыт этот начинается.

Результат известен.

Но мне кажется, что его великие геодезические купола, летающие города проекта «Девятое небо», идея о том, что человечество должно полагаться на возобновляемые источники энергии (солнечного света, ветра, воды), большинство его идей и открытий связаны напрямую с защитой от холода, голода, неустроенности, болезней маленьких детей, таких, как его годовалая девочка, которую он не смог защитить.

В старости жили они с женой, с Аллегрой и внуками в Калифорнии. Энн Фуллер тяжело болела, онкология, операции, — не все удачные. Она лежала в коме, он сутки напролет проводил у нее в больнице. В тот день он вскочил, совершенно счастливый, вскрикнув на всю палату: «Она сжала мне руку!» И упал, потерял сознание, умирая от обширного инфаркта. Энн, так и не приходя в себя, через час последовала за ним.

И приняли их его неосуществленные, несуществующие летающие города в последний полет. О, простите, виновата, я забыла про диапроектор!

Тут стала Тамила показывать свои диапозитивы, перепутала последовательность: в обратном времени возникали перед нами цветные портреты Ричарда и Энн

Фуллер, цветные геодезические купола всего мира; далее мир стал черно-белым: монументальные изображения старого гуру в мастерских, макеты, модели. Вот они с юной Энн, в широкополой шляпе, с малышкой Аллегрой, — лицо его так и не оттаяло после смерти ее годовалой сестры, а вот красавец из Кембриджа, крутивший романы с куколками-танцовщицами, и, наконец, школьник.

Потом, безо всякой паузы, на экране появилась картина Климта «Поцелуй».

— Один из «четырех великих» архитекторов двадцатого века, ставший основателем знаменитого Баухауза, Вальтер Гропиус, после трех лет работы с Петером Беренсом начал работать самостоятельно. Как дизайнер проектирует он внутреннее оборудование цехов, автокузова, тепловоз, обои, как архитектор — знаменитое здание обувной фабрики Fagus-Werke. В 1910 году он знакомится с Альмой Шиндлер, то есть уже Альмой Малер, женой композитора Густава Малера. Считается, что именно ее изобразил на своей известной картине влюбленный в нее без памяти Климт.

Альма тяготела к истории искусств, все ее мужья и любовники по истории искусств проходят: и Малер, и Кокошка, и Климт, и Верфель, и Гропиус. Она сама писала музыку; Малер сказал ей: «Твоя музыка лучше моей»; я полагаю, он имел в виду нечто метафорическое, музыку ее тела, но Альма поверила, решив, что и вправду ее опусы превосходят произведения гениального Малера. Это неоспоримое доказательство ее непроходимой глупости, но в те времена, как и во все другие, ума от женщины вовсе не требовалось. Муза многих, она вдохновляла своих мужчин, с ней ощущали они особый вкус бытия, теперь буржуазные заграничные люди назвали бы букет ее свойств «сексапильностью», а саму Альму секс-бомбой, во времена ее молодости слов таких не говорили. Она переходила от гения к таланту (и наоборот), словно кубок Нибелунгов, как переходящий приз. Похоже, такие женщины встречались в начале века не единожды, соответствовали стилю эпохи.

Тут на экране появилась Альма, и Тамилла осведомилась у слушателей своих, не напоминает ли им ее точеный профиль и прочие отточенные, выверенные, пролепленные природой части фигуру на носу корабля, прекрасную ростру.

— Призрак Альмы-ростры, — сказала Тамилла, — видится мне на носу утонувшего «Титаника». На мой взгляд, «Титаник» — тоже один из создателей дизайна: его изощренная, необузданная роскошь, многодетальность, избыточность, пойдя ко дну к чертовой матери, не могли не породить минимализма и конструктивизма.

Этот ее пассаж, особенно совершенно неожиданная в устах Тамиллы чертова мать, породил некий ветерок, пронесшийся по залу.

Почему-то «Титаник» в последнее время частенько вспоминали, хотя от будущего создания оscarоносного фильма отделяли нас несколько десятилетий. При мне известный искусствовед сказал: «Целая эпоха пошла ко дну, Серебряный век вместе с нею». А один из мухинских, помладше меня, из самых одаренных, Копылков, узнав, что заведующий кафедрой керамики, штигличанский проректор Владимир Федорович Марков родился в день гибели «Титаника», произнес: «Чья-то душа всплыла».

А меня от слов Тамилы о «Титанике» пробрала минутная судорожная дрожь, я вспомнил о том, что мы на острове, а там, на косе, под водой, пребывают множества скелетов безымянных лагерников, подобные пассажирам затонувшего корабля незнакомой недавней эпохи.

Свет лекторского фонарика, освещавшего Тамиллины листки с текстом, освещал и ее лицо с пылающими щеками, тенями ресниц, подобное портрету Латура; луч диапроектора высвечивал на экране образы прошлого. Интересно, подумал я, о чем книга Букминстера Фуллера «Четырехмерное время»?

Дочь художника Шиндлера, очаровавшая Климта, влюбившаяся в композитора и дирижера Цемлинского, жена Малера, любовница, а потом жена Гропиуса (они поженились, когда Альма стала вдовой), разлюбила биолога Каммерера и рассталась с художником Кокошкой. Любовница и невенчанная жена писателя и поэта-экспрессиониста Верфеля за год до своей смерти (в восемьдесят четыре года) выпустила книгу с откровенными описаниями всех своих возлюбленных (достаточно оскорбительными), расистскими высказываниями и словами, полными сочувствия нацизму. Мы больше не будем о ней говорить, напоследок увидев ее образ в картине Кокошки «Невеста ветра».

Невеста ветра, написанная Кокошкой, спала с мужчиной — возможно, ветром, — в гнезде из экспрессионистических облачных бурь, изломанных линий; я вспомнил простонародное «ветром надуло» о младенцах, прижитых с «проходящим молодцом».

— Поговорим о Манон, — сказала Тамила.

И на экране показалась серьезная девочка с кошкой.

Потом та же девочка с отцом, с Вальтером Гропиусом.

В ней было что-то притягивающее взгляд, она запоминалась: вот ушел кадр, что вам до него, что вам до этой девочки, а почему-то она западала в сердце, оставалась с вами.

А теперь она выросла, стала девушкой, барышней, смотрела на вас, улыбаясь: нежное милое лицо, странный ракурс, три четверти почти, но как-то на бегу, чуть исподлобья, словно она проехала мимо вас на неспешной карусели, а вы сфотографировали это мгновение чуть-чуть сверху. Отец любил ее без памяти.

Когда узнал он об очередном романе своей невероятной жены, о том, что умерший в колыбели младенец Мартин сыном ему не был, он уехал, — собственно, навсегда. Чтобы не компрометировать жену, бывшую матью обожаемой дочери, он подстроил randevu с проституткой (свидетелей полно) — это было объявленным поводом для развода. Альма тотчас снова вышла замуж, теперь уже за Верфеля.

После развода девочка осталась с матерью и отчимом, вспыльчивая, своенравная, невыносимая. В переходном возрасте разрыв родителей дался ей тяжело.

В 1930 году она стала сговорчивой, почти безмятежной. Ее сопровождали кошки и собаки. Она кормила диких косуль, которые не боялись ее. Питала бесстрашный интерес к змеям. Протестантка, она в 1932 году перешла в католичество. Ее увидел Канетти, писавший о ней: «Газель вернулась легкой походкой под видом молодой девушки, шатенки, нетронутого существа, в великолепии моложе ее невинности и ее шестнадцати лет. Она излучала больше радости, чем красоты, ангельский гость не из ковчега, а с неба».

Альма сказала Канетти: «Она красива, как ее отец. Вы когда-нибудь видели Гропиуса? Большой красивый мужчина. Тип истинного арийца. Единственный человек, подходивший мне в расовом отношении. В меня обычно влюблялись маленькие евреи».

Альма была не в курсе, что Канетти, родившийся в Болгарии и носивший итальянскую фамилию, был из семьи сефардов, европейских евреев; он выслушал ее, но слова эти запомнил. Перу Канетти принадлежит жесткая характеристика некоей роковой красавицы, облик ее неприятен, почти карикатурен.

Когда я впервые услышала о дочери Альмы и Гропиуса и увидела ее лицо, я подивилась: да разве есть такое имя — Манон? Моей любимой книгой была и остается «Манон Леско» аббата Прево, я даже духи покупаю с названием «Манон». Но я полагала, что героинь Прево зовут уменьшительной именной формой, вроде Манечки или Мани. На самом деле нашу девочку назвали в честь бабушки, матушка

Гропиуса тоже была Манон, но форма уменьшительная, от имени Мария, и вправду французская.

Она хотела стать актрисой, мечтала о театре. Ей предлагали роль первого ангела на одном из представлений театрального фестиваля в Зальцбурге, но отчим не разрешил ей появиться на сцене.

В марте 1933 года Манон и ее мать отправились на Пасху в Венецию. Там Манон заболела полиомиелитом. Полностью парализованная, в 1935 году она умерла.

Композитор Альбан Берг посвятил памяти Манон скрипичный концерт. Верфель написал некролог для католических журналов. Его персонажи — Бернадетта, невеста — это она. Еще он описал ее жизнь и смерть в двух рассказах.

Скрипичный концерт Альберта Берга назывался «Памяти ангела»; иногда музыковеды пишут: «Реквием по ангелу».

Я забыла сказать, что уменьшительное Манон, так же как и Мариетта, стало самостоятельным, отдельным именем.

Альма похоронила нескольких детей от разных мужей, сама же прожила мафусайлов век.

В одной из статей — больше нигде мне об этом не попалось ни одно упоминание — прочла я, что Манон прекрасно играла на скрипке.

Даже сейчас мне неохота менять диапозитив, почему-то мне жаль прощаться с Манон Гропиус, но мы с ней простимся.

На экране возник шезлонг из металлических хромированных или никелированных трубок, на шезлонге лежала, рекламируя самоновейшее дизайнерское изделие, девушка в короткой для довоенной эпохи юбочке, она отвернулась, на шее ее блестели бусы.

— Это, — сказала Тамилла, — девушка в ожерелье из шарикоподшипников. Шезлонг свой рекламирует автор. Ее зовут Шарлотта Перриан. Двадцати четырех лет от роду («а выглядела я, — напишет она в воспоминаниях своих, — как семнадцатилетняя девчонка»), начитавшись работ Ле Корбюзье, который тут же стал ее кумиром, она пришла наниматься на работу в его мастерскую, в его atelier. Мэтр был не то что женоненавистник, но мужским шовинизмом страдал определенно, даже средний рост его знаменитого «Модулора» был рассчитан на средний рост мужчины. Знаете, это как молитвы, которые все в мужском роде; вспоминаю я и украинскую версию: «чоловік» и «жінка». Оглядев хорошенькую, худенькую, элегантную девчонку, с коротенькой стрижкой, в самодельном ожерелье из шарикоподшипников, прижавшую к груди маленькую кожаную сумочку, Ле Корбюзье промолвил знаменитое (все цитаты отличаются, смысл остается): «Девушка, что вы тут у нас будете делать? Подушки вышивать?» — и указал ей на дверь.

Шарлотта удалилась, раздосадованная, расстроенная, однако, альпинистка, монтарьянка, переполненная жадной жизни, зачарованная работой, чувствуя свою силу, свои способности, она была еще и упряма как осел.

Свою мансарду на парижской площади Сен-Сюльпис превратила она в выставочный зал из стекла и металла; уже тогда, в начале, но и позже, мебель из трубчатой стали — ее конек. Шарлотта решила участвовать в Парижском осеннем салоне, где ее работы из стекла, стали и алюминия не заметить было невозможно. На ее мебель обратил внимание архитектор и дизайнер Пьер Жаннере (и на нее самое тоже, как всем известно), кузен Ле Корбюзье, и девушка была приглашена — с извинениями — на работу в студию Ле Корбюзье на rue de Sevres. Что было совершенно естественно и справедливо, потому что маленькая Шарлотта Перриан со вздернутым носиком (она все еще носила свое ожерелье из шарикоподшипников) была мадемуазель Дизайн.

— Мисс Дизайн, как сейчас бы сказали, — промолвил сидящий передо мной.

— Причем Мисс ван дер Роэ, — откликнулся сосед его.

— И с 1927 года Шарлотта разрабатывает мебель и фурнитуру для архитектурных проектов Ле Корбюзье, в том числе знаменитый стул для переговоров с подвесной спинкой В301, квадратное кресло для отдыха ZC2 Grand Comfort и элегантный шезлонг В306, для рекламы которого позирует сама, как вы уже видели, стеклянные столы, стулья на металлических ножках с кожаной и матерчатой обивкой и так далее.

Некоторые журналисты с журналистской четкостью называют ее «музой и возлюбленной» Ле Корбюзье. На самом деле вся мастерская, вся студия Корбю была в нее влюблена, но роман у нее был с Пьером Жаннере.

У Ле Корбюзье Перриан проработала десять лет, после чего покинула студию. Вместе с Фернаном Леже оформляла павильон на Международной сельскохозяйственной выставке в Париже, работала на лыжном курорте в Савоие, где экспериментировала, в частности, с необработанными природными материалами, например неотесанным деревом.

После начала Второй мировой войны она возвращается из Савоии в Париж, где продолжает работать с Жаном Пруве и Пьером Жаннере. С Жаннере они совершают поездки к французскому побережью, где собирают гальку, обточенное морем дерево, рыбные скелеты. В Париже эти находки будут расчищены, сфотографированы, станут произведениями, подтолкнут — позже — к новым идеям, новым конструкциям.

Жаннере и Перриан назовут это «спонтанным искусством».

На одной из фотографий суровый Корбю держит тарелку над головой смеющейся, счастливой Шарлотты на манер белого нимба — вот это фото. Но одно из лучших ее изображений — фото на пляже в Нормандии. Фотограф, Пьер Жаннере, снял ее снизу вверх, она только что вышла из воды, он любит ее подругой своей, ее молодостью, ее обнаженной грудью. Они расстались во время войны, когда ее пригласили в Японию дизайнером-консультантом с императорской зарплатой.

Тамила, продолжая говорить, сделала знак одному из своих пажей, который затаял на сцену магнитофон и приготовился включить его.

Тут восприятие мое раздвоилось — свойство с детства, забавное, о котором я больше ни от кого не слышал (говорят, такое бывает у актера, когда играет он роль и одновременно видит себя глазами зрителя). С одной стороны, слушал я голос Тамилы, говорившей о странах, в которых побывала Шарлотта: она работала в Японии, жила во Вьетнаме, в Бразилии, а когда Ле Корбюзье с Пьером Жаннере проектировали здание Центросоюза, приезжала с ними в Москву. С другой стороны, видеоряд кресел руки Перриан, стульев, полок, встроенных шкафов вызвал в памяти моей дизайнерские проекты студенток Мухинского, самых талантливых, и их самих. Они прошли по залам воображения моего, точно младшие ее сестры. Я видел изображения их работ, четкие, с особо гармоническими пропорциями, глубокими тенями, благородным цветом, длинно заточенный нос карандаша 3Т в маленьких руках, решительность, стройность; они были фанатически преданы своему делу, дизайн — это была их любовь, они готовы были возиться со своими чертежами, макетами, моделями, отмывками денно и ночью, у них получалось все, от малых изобретений ноу-хау до рыцарских, связанных ими серо-стальных свитеров, в которых щеголяли они сами и их возлюбленные. Пробегала по галерее главного зала и мимо копий лоджий Рафаэля Нелли Колычева в разлетающейся юбке, в сандалиях Дианы, проходили Галя Ильина, белокурая модница Сурина, маленькая Стрельцова со стрижкой Лайзы Миннелли, они так же любили спорт,

как Шарлотта, но по бедности нашей жизни не могли заниматься спелеологией, каяком, альпинизмом, греблей, как она; в спортзале родного института играли в волейбол и баскетбол, их можно было встретить с лыжами или рапирой.

Пока Тамила говорила об отеле «Савой», горных курортах, мебели из шоколадно-алого бразильского дерева, семинаре Жана Пруве, сотрудничестве с великим мебельщиком Тонетом (кто из вас не сиживал в бабушкиных питерских квартирах на его венских стульях-гнушках?), я вспомнил встречавшихся мне мисс и мадемуазель Дизайн.

Потом, много позже, когда смотрел я в интернетовых дебрях тексты и картинки, посвященные Перриан, вставала передо мной Москва, где она окончательно рассталась с коммунистическими идеями юности. Москва тридцатых годов; на одной из зимних фотографий утеплившийся кое-как Корбюзье, сидящий на фундаменте здания Центросоюза, напоминает одного из гулаговских эзков, строивших московские высоты.

Очки его, по обыкновению, фантастичны, одно стекло всегда получается бликующим, полуразбитым, полуслепым, выглядит деталью портрета булгаковского персонажа из свиты, не к ночи будь помянутого.

И возникает передо мной образ юной Шарлотты Перриан, любившей горы и побережья, одиночки-путешественницы, ночевавшей в стогах сена, среди камней, прогретых солнцем, долго отдававших в ночи древнее тепло, или на топчанах пастушеских приютов, покрытых овечьими шкурами, с первобытным, первозданным уютom человеческого гнезда.

На Тамилином экране еще светилась цитата: «La forme, c'est le fond qui remonte à la surface» («Форма — это глубинная суть, поднимающаяся на поверхность»). Charlotte Perriand, — а наш уже врубил свой магнитофон раньше времени, и излился в воздух женской гимназии теплый, переливчивый, обволакивающий, околдовывающий слушателя, льющий в уши мед соблазна женский голос, певший немудрящий *chanson* довоенных лет.

— Вы слышите, — сказала Тамила, улыбаясь, — легенду эстрады, звезду кабаре, по прозвищу Черная Пантера (впрочем, было и другое прозвище — Черная Жемчужина), Жозефину Бейкер.

Зал, разумеется, оживился, увидев полуодетую красотку мулатку в перьях и побрякушках, с ослепительной улыбкой, — мы не привыкли к подобным изображениям.

— Ну, намылят шею, — весело сказал мой сосед справа, ни к кому, собственно, не обращаясь, — не только Тамиле Доренко, но и всем организаторам да кураторам за этот вертеп разврата.

Сидевший в первом ряду Энверов картинке заплодировал.

На одной из виниловых пластинок моих друзей-художников Жозефина Бейкер пела «Hello, Dolly».

По дуэтам очаровательная мулатка была большая специалистка. Несколько мужей, без счета любовников, список солидный, кого только там не было: Сименон, Де Голь, Хемингуэй, король Швеции Густав VI и иже с ними.

Жозефина Бейкер, дочь еврея-оркестранта и негритянки, встретила с Ле Корбюзье на борту корабля. Я лично слышал два разных названия этого корабля; плавали ли они вместе не единожды? туда и обратно? или журналисты были, как всегда, неточны?

Ле Корбюзье, страдавший отчасти, как в начале двадцать первого века будут выражаться, «мужским шовинизмом» и «манией гендерного превосходства», чуть-чуть бирюк, слегка боявшийся «этих баб», — чему мы обязаны фразой о вышивании подушечек в адрес Шарлотты Перриан при первой, неудачной ее попытке ус-

троиться к мэтру на работу, — совершенно оттаял, расколдовался, обрел свободу после корабельного приключения.

Бейкер провела все время круиза в каюте Ле Корбюзье, рисовавшего ее нагой; она ему пела; пишут, что потом создавал он новые здания в духе ее танцев; после встречи с Жозефиной Корбюзье построил свою виллу Савой (Villa Savoy). На мой взгляд, дом на побережье, на мысе Кап-Мартен, построенный им для жены Ивонны, его последнее обиталище, напоминал — в память о Жозефине — корабельную мультиплицированную каюту. Когда он пил кофе с молоком, он улыбался, вспоминая Черную Пантеру, да и вид светлых кофейных зерен возвращал ему блики ее атласной кожи. Его эротические рисунки и фрески, возникшие после каютных радений 1929 года, — это тоже Жозефина.

После краткого корабельного курса науки любви он разморозился, оттаял, ослабился, сделал наконец (после восьми лет знакомства) предложение своей Ивонне Галлис (чем-то отдаленно напоминавшей Жозефину) и женился на ней в 1930 году.

Изображение малоодетой Жозефины Бейкер несколько задержалось на экране, что вдохновило на классическую реплику из советской кинокомедии моего соседа слева, произнесшего:

— Облико морале!

Тут появились на экране Ле Корбюзье с Ивонной Ле Корбюзье. Они прожили вместе двадцать девять лет, брак их был счастливым.

— Еще одна женская фигура из девяти рядов до Луны, — сказала Тамилла, — связана с Ле Корбюзье самой необычной на свете темой, эта тема — ревность. И ревность одного из великих архитекторов была — к дому. К дому, спроектированному и построенному Эйлин Грей.

— Голубоглазая, черноволосая ирландка Эйлин Грей, — звенел голос Тамиллы, алые пятна горели на щеках ее, — проектировала и выполняла мебель из металлических трубок хромированной стали, служивших несущими конструкциями, с 1918 года, когда в ходу была резьба, редкие породы дерева, лакировка времен модерна. Яркий пример ее авантюристического дизайна — кресло *Vibendum* с регулируемой спинкой «работа — отдых». Столик из дома E-1027, стулья, зеркала, табуреты, ширмы — хрестоматийные, известные всем мебельщикам работы.

Но самое известное ее творение — дом на Лазурном берегу E-1027, дом, на котором Ле Корбюзье был отчасти помешан, к чему испытывал он неадекватное и мало-понятное чувство отчаянной ревности, — как к автору, Эйлин, посмевавшей построить его, так и к самому дому, дразнившему его с момента возникновения. «Дом — это машина для жилья», известные всем архитекторам и дизайнерам слова великого и ужасного Ле Корбюзье, создавшего Модулар, построившего задуманную им как некий идеал Жилую единицу в Марселе, капеллу в Роншане, монастырь в Ла-Туретте, музей в Токио, город Чандигарх в Индии. Словно в пику ему Эйлин произнесла и превратила в текст совсем другие слова: «Дом — не машина для жилья, это раковина человека, его продолжение, его отдушина, его духовная эманация». Ей же принадлежит фрейдистское высказывание о входной двери: «Вход в дом — это как попадание в рот, который за тобой захлопнется».

Перебравшаяся из аристократического дома в Ирландии в Париж маленькая баронесса Эйлин Грей вращалась в лесбийском обществе Гертруды Стайн и ее окружения, ее видели за рулем в черном авто, в котором каталась она по улицам столицы искусств в компании знаменитой шансонье Дамии, любившей разгуливать с ручной черной пантерой на поводке.

— Черной пантерой? — произнес за моей спиной Филиалов. — Однако эти нетрадиционно ориентированные дамочки отличались храбростью. Но я надеюсь, это не было намеком на Жозефину Бейкер?

Почему-то образ Дамии с пантерой запал мне в голову, и когда через много лет увидел я фотографию Сальвадора Дали с муравьедом на сворке, стал преследовать меня сценкою из сна наяву, возникшей в воображении моем: Дамия с пантерой на одной стороне узкой улочки, Сальвадор Дали с муравьедом на другой, они смотрят друг на друга не вполне гендерными взорами эпатажника и эгоцентристки.

— В возрасте сорока лет, — продолжала Тамилла, — Эйлин Грей влюбилась в румынского архитектора, писателя и прожигателя жизни Жана Бадовичи, который был на семнадцать лет моложе ее. Походя он произносит фразу о собственном доме с сугубо личными предметами — и она строит для него дом на Лазурном берегу, буквально строит, спроектировав, — своими руками, с помощью двух рабочих. У дома есть имя, в котором зашифрованы инициалы любовников: E — это Эйлин, 10 — это J (Jean), 2-B (Badovici), 7 — G (Gray). Дом, белый корабль, выброшенный на скалы, окруженный пиниями, оливами, камнями. Ветер колеблет парусиновые занавески, блестит металл стульев, столов, перил, то там, то сям лежат отдели ковров с морским рисунком. На одной из стен огромная карта с надписью — строкой о плавании из стихотворения Шарля Бодлера; ночью карту освещает настольная лампа. Кожаное кресло Transat с металлическим каркасом напоминает шезлонг на трансатлантическом лайнере — все, что осталось от «Титаника». Мебель Грей сделала сама. Столы ездили по рельсам, табуретки служили лесенками, полки вращались на петлях, шкафы прятались и появлялись, с помощью зеркал и ширм одна комната превращалась в несколько, зеркала играли в операционную и в обсерваторию, все напоминало декорацию с превращениями, исчезновениями — метаморфный мир пьес Карло Гоцци. Три изречения встречали входивших: в прихожей — «*Entrez lentement*» («Входите медленно»); на кухне — «*Sens interdit*» (запретные чувства? запретное направление?); под вешалкой — «*Defense de rire*» («Смеяться воспрещается»).

Среди комнат для одного и одной заблудились две комнатухи для прислуги (или неведомых спутников? незваных гостей?).

Они прожили в доме несколько лет. Все время приходили гости, друзья Жана. Когда приходил Ле Корбюзье, Эйлин пряталась: она то ли стеснялась, то ли боялась его, то ли терпеть не могла.

А самого мэтра с возникновением дома на утесе преследовала, словно амок, безумная страсть к E-1027 и неприязнь к его создательнице.

В какой-то момент Эйлин Грей, вместо дома любви для двоих оказавшаяся в архитектурном салоне, собрала одежду и ушла, захватив с собой только маленький столик E-1027.

Грей увлеклась работой и статьями Лооса, сторонника минимализма — чистых стен, полупустых комнат. В своей работе 1908 года «Орнамент и преступление» Лоос писал: «В основе потребности расписывать стены лежит эротическое начало. Современный человек, ощущающий потребность размалевывать стены, — или преступник или дегенерат».

После ухода Эйлин то ли по просьбе Бадовичи, то ли с его разрешения, Ле Корбюзье расписывает стены — корабль перестает быть чистым и белоснежным.

Эйлин приходит в ярость, пишет ему отчаянную открытку, называет происшедшее актом вандализма — она оскорблена.

На фресках — эротические сцены, иногда это двое любовников, иногда — то ли гарем, то ли бордель. На большой фреске в гостиной две обнаженные женщины с парящим между ними ребенком, у одной из женщин на груди свастика.

В 1948 году Корбюзье пишет в статье: «Дом, который я оживил своей росписью, был довольно мил и вполне мог обойтись без моих талантов. Для больших фресок были выбраны самые бесцветные и непримечательные стены».



Через несколько лет Корбюзье приобрел участок возле E-1027, построил на нем свой знаменитый домишко «Савапон», а после смерти Жана Бадовичи выкупил через подставное лицо виллу Эйлин Грей; он приходил туда, прокрадывался, его притягивало магнитом, он видел белый пароход на скале со своего крыльца, но жил у себя.

Потеряв жену Ивонну и любимую мать, он стал угрюмым, замкнутым и как-то сказал: «Как славно было бы умереть, плывя к солнцу».

Есть подозрение, что гибель Корбюзье во время одного из дальних заплывов в чудесный августовский день была самоубийством. Его выбросило волной на пляж под виллой, столько лет мучившей его. Он лежал, словно загорая на песке.

— Утоп утопист, — произнес за моей спиной Филиалов.

— Может быть, — сказала Тамила, — есть на самом деле кельтские чары, ирландское колдовство, существовал когда-то ирландский бог Тевтат, жертвы которому топили в воде, и негоже было сыну швейцарского часовщика оскорблять ирландку. В квадратном дворе Лувра греки посыпали гроб Ле Корбюзье землей с Акрополя, а индийцы окропили водой из Ганга. Корбюзье похоронили рядом с Ивонной на сельском кладбище Кап-Мартена, неподалеку от его «Савапон» и от белого дома Грей. Дом несколько раз переходил из рук в руки, последний хозяин был убит, зарезан в его стенах, после чего E-1027 опустел и стоит по сей день заколоченным.

А теперь несколько слов о Лили Райх, женщине четвертого из «четырех великих», Миса ван дер Роэ.

Вот он перед вами, немецкий архитектор Мария Людвиг Михаэль Мис, соединивший аристократическим «ван дер» отцовскую голландскую фамилию Мис с материнской Роэ. На этой фотографии он улыбается, у него близко поставленные светлые глаза, он похож на инка или ацтека, морщинки на лице словно прорисованы стеком или стилем по глине, как у одного из божеств дождя — чак-мооля древней Мексики. Подобно Корбюзье, он приезжал в Россию, но не в Москву, а в Петербург, где в 1912 году руководил строительством спроектированного Беренсом здания немецкого посольства на Исаакиевской площади.

Когда в нацистской Германии закрыли всемирно известный Баухауз, которым он, последний директор, управлял до 1933 года, после нападков со стороны национал-социалистов, называвших институт еврейско-коммунистическим гнездом, Мис эмигрировал в США. Тоталитарному государству оказался чужд баухаузовский стиль ясного мышления и функционализма, архитектура съезжала к гитлеровскому и муссолиниевскому ампиру; с ним будет схож и наш сталинский ампир, знакомый всем нам по построенным в Москве эками высоткам и домам для государственной элиты.

Дизайнер и архитектор Лили Райх работала с Мисом ван дер Роэ тринадцать лет; они не расставались: она проектировала мебель в его домах, вела дела, была его секретарем, делопроизводителем, его женщиной.

Теперь вы видите ее лицо. Я не знаю подробностей биографии Лили. Она могла быть кем угодно — немкой, еврейкой, австрийкой. Женщина с таким лицом могла бы жить в Ленинграде, в Боровичах или в Иркутске.

Когда Мис ван дер Роэ уехал в Америку, Лили Райх осталась в Германии, однако и оттуда продолжала вести его дела, помогать ему. Потом она поехала в Штаты к Мису, но пробыла там неделю и вернулась на родину. В сорок третьем она попала в концентрационный лагерь, в сорок пятом ее освободили вошедшие в Германию войска, а в сорок седьмом она умерла.

Всем нам известны построенные Мисом ван дер Роэ здания: «стеклянный дом» хирурга из Чикаго Эдит Фарнсуорт, Сигрэм Билдинг, павильон Германии в Барсе-

лоне, вилла Тугенхагт, нью-йоркские высотные дома — стекло, сталь, избыточная инсоляция; его работы определили стиль архитектуры двадцатого века.

В быту этот революционер архитектуры, один из «четырёх великих», был традиционалистом: ему нравилась старая деревянная мебель эпохи модерна, его личное гнездо напоминало дом его детства. О нем говорили, что у него нет ни приятелей, ни друзей, ни привязанностей, одни сотрудники. Он слыл брюзгой и нелюдимом. И до конца дней не мог себе простить, что отпустил Лили Райх — допустил ее возвращение в Германию.

Все они остались в девяти рядах до Луны: теперь человечество исчисляется в других цифрах, рядов стало больше, раз людей больше, а эти поддерживают свою Луну, чей свет рисует блики на стеклах домов их великой архитектуры, на стальных деталях фурнитуры, мебели, на ожерелье из шарикоподшипников. А у нас сейчас уже стемнело, вышла наша сегодняшняя луна, и я закончила свое сообщение.

С этими словами Тамила забрала свои бумаги и сошла со сцены, а зал устроил ей овацию, точно певице.

### **Человек из полнотной тени**

После доклада, как всегда, расходились быстро, почти разбегались, как птицы разлетаются: только что была стая, а вот и нет никого.

Я вышел на улицу, собираясь проводить Нину: она говорила, что хочет услышать доклад об основоположниках, но Нины не было, и я пошел пройтись перед сном.

Обгоняя всех, прошли к спуску к воде, видимо к своей косе Тартари, Тамила и Энверов, и он сказал ей:

— Не отставай от меня, будь со мной, когда-нибудь я построю тебе в подарок дом для занятий любовью на Лазурном берегу.

Она засмеялась, они сошли с высокого берега, пропали из виду.

— Интересно, — сказал уходящий Времеонов, — что, кроме формулировки «отстань от меня», существует и «не отставай от меня»...

— Нельзя построить дом для занятий любовью, — сказал я вечернему воздуху, — разве что публичный.

— Собственно, и для любви нельзя, — откликнулся Филиалов, резко поворачивая налево, чтобы исчезнуть за углом.

— Вот с этим я согласен, — сказал некто невидимый, курящий в тени сиреневого ночного куста. — Для чего дом? Достаточно тьмы под кустом южной ночью, фрагмента луны, стога сена, топчана любого, расстеленного плаща.

Тут сделал он шаг, луна осветила силуэт его, он был высок, костист, худ, широкоплеч, волосы с сильной проседью, сначала я подумал, что передо мной Титов.

— Но человек-то неприятный, — продолжал он, словно рассуждая вслух и не ко мне обращаясь. — В люди не годится, хотя молодой и в деле пока не бывавший. Даже если так думаешь, кто же такое вслух женщине говорит; только в узкой прослойке уголовников говорят: «Пойдем по.....». «Для занятий любовью». Дурное существо.

— Как вы сказали? — переспросил я. — В люди не годится? Странное выражение.

— Это не выражение, — отвечал он. — На одном из особых лесосплавов, а архипелаг ГУЛАГ лесосплавами славился, была расстрельная бригада. Людей лесосплав выматывал очень быстро, выматывал до нитки, эта бригада расстреливала тех, кто в работу уже не годился. Но ходили среди эзков слухи, что и саму бригаду после двух лет работы тоже расстреливали, потому что в люди они уже не годились.

— По правде говоря, я думал: куда подевались работники лагерные? кем они теперь работают? где? может, мы их встречаем?

— Однажды ко мне, — сказал он, — в мой прекрасный южный город (а я по рождению южанин, а Таймыр, Колыму, Тайшет, Норильск, Заполярье обживал десять лет по случаю) приехали московские гости, светские люди — художник с женой. Повел я их в гостиницу. Раскланялся со мной швейцар при входе, дверь открыл, поднес их чемоданы в номер, а когда выходили (а жена моя ждала нас дома на обед), снова дверь отворил, кланялся, и я дал ему чаевые. Прошли мы полквартила, жена художника, тоже женщина искусства, сказала восторженно: «Ваш город как особое царство, все тут прекрасно. Вон какой замечательный добрый дяденька швейцар в ливрее встречает постояльцев гостиницы!» А я ей ответил: этот добрый дяденька — бывший лагерный охранник, убийца и садист; однажды наш ночной портье вел меня через лагерный двор, все во мне кипело, я обернулся (на самом деле не только для него внезапно, но и для себя) да и дал ему ногой изо всех сил, а силы у меня тогда были, я был одним из самых сильных. Валялся потом избитый в карцере, видать, как рабочую силу подходящую не забили насмерть, еле жив лежал, однако при полном моральном удовлетворении. «Как же вы с ним теперь здороваетесь, чаевые даете?! — вскричала московская гостья. — Что же это такое?» — «Это жизнь», — отвечал я ей, прожившей с детства до зрелого возраста в невинности благополучия. Знаете, отлежавшись, я подготовил побег и через месяц бежал из лагеря.

— Разве можно было из лагеря бежать?

— У меня было шесть побегов, — легко отвечал он. — После шестого я в Заполярье и оказался. После каждого побега мне срок прибавляли, в общей сложности должен был я отсидеть восемьдесят пять лет. Так что я, знаете ли, профессиональный беглец. Один из садистов заполярных лагерей, у которого была склонность метить заключенных, приказал мне насильно сделать татуировку, художественную часть мастер-татуировщик из уголовников добавил от себя, а текст был от начальника: «Склонен к побегам».

— И вас каждый раз ловили?

— В соответствии с меткой меня стали переводить из лагеря в лагерь, чтобы не успевал подготовить побег, катали по Заполярью в пульмановских телячьих вагончиках туда-сюда. А в предыдущие побеги, — да, ловили. Но один раз был я в бегах четыре года, по поддельным документам устроился работать на белорусскую лесопилку, мне родственники жены помогли, и так там хорошо трудился, что вышел у меня быстрый карьерный рост, стал я директором деревообрабатывающего завода, на беду, решили мне выдать правительственную награду, стали документы оформлять, тут и выяснилось, что я не я, а беглый каторжник Жан Вальжан.

— Вы больше похожи на графа Монте-Кристо, — сказал я.

— Боже упаси! — весело отвечал он. — Вон какой чудесный доклад был наемни про графа Монте-Кристо, благородного мстителя, под заголовком «Занимательная уголовщина».

Не знаю, почему рассказал я ему про тень облака, про особое место на острове, встав на которое обретешь ясновидение, необычные свойства и черты.

Должно быть, руководило мною русское дао, путь, географически безбрежный в том числе, транссибирский, к примеру, трансцендентальней некуда. Вот встречаемся мы, пассажиры, путники, страннички, секундно, мгновенно, случайно, наше наличие по закону пути — всегда последующее отсутствие.

И по непреложному необъявленному закону русских дорог, географически долгих, длинных, физически странных (неописуемые объезды всех ремонтируемых

шоссеек первой половины двадцатого века, безумные шоферы в последней его трети...), мы разговаривали как положено, как местные путники, очарованные странники: никогда больше не встретимся, увиделись мимолетно, потому можно рассказать друг другу всю свою жизнь; кому исповедник священник, нам — *первый встречный*.

— Особые свойства? — переспросил он, брови приподняв, — особые свойства особой породы, племени незнакомого? Да уж мы-то, конечно, племя незнакомое, сами по себе и отличаемся от всех жителей земли. Ведь у людей во главе страны — кто? царь, король, хан, президент, деспот; а у нас не одно десятилетие был главарь государства. Скромно именовал себя «вождь», намекал, что мы — племя, не народ, не нация. Главарь по закону языка только у банды бывает. А если людей все время держать в мятежном теле страха, у них некие свойства появляются самоновые, а ряд других человеческих свойств улетучивается. Знаете, кто у своих рабов-адептов сверхъестественную породу осознанно и умело вырабатывал? Некто Гурджиев. Он утверждал: сделай невозможное, сделай это еще раз, повтори трижды. Заставлял кротчайших, доверившихся ему овец резать, кроликов или кур, например; они у него на представлениях валились то в оркестровую яму толпою, то в проход перед первым рядом зрителей, совершенно спонтанно, по его приказу, и ни одно-го не то что перелома либо вывиха, а даже ушиба либо синяка — вывел-таки породу.

— Что-то я не видел вас на реплике о Гурджиеве.

— Мне о нем в лагере китаец рассказывал.

— Китаец?

— Мне за десять лет каторги заполярной (предыдущие каторжные места мои находились значительно южнее) попались три китайца, я называл их одним и тем же именем, придуманным мною, — это их смешило, но они откликались. Все трое были необычные существа, ко всем троим относился я не то чтобы со страхом (когда постоянно живешь в аду, не до страхов), — но с особым вниманием. Между прочим, каторга сама по себе вырабатывает нечеловеческие свойства. Жил молодой человек, у которого убили отца (у меня тоже ведь отца убили, ни в чем не повинного отца семейства, юриста, — а ведь бежал из тюрьмы, хватило храбрости, но был пойман, — следователь убил, забил молотком на допросе), который помешан был по юношеской вспыльчивости на идее социальной справедливости, связался с заговорщиками, революционерами, попал на каторгу, выжил, — и получился великий писатель Достоевский. А без каторги был бы милый беллетрист. Но я вспомнил о китайцах. Один из них, кажется, был великий разведчик, работавший на несколько стран, в том числе на нашу, но в первую голову, я полагаю, именно на Китай. Двое других совершенно загадочны и непроницаемы. Один, например, в норильском лагере объявление о своей лекции на стене барака повесил, такой клочок бумаги зловещий: «Учу побеждать».

Тут закурил он — вспышка огонька осветила его теплым желтым светом, в отличие от холодного лунного, серебристого, — я увидел сеть мелких морщинок на лице, большие складки морщин, при этом была в его чертах красота, поразительная молоджавость, даже молодость. Я однажды в Москве видел женщину, вдову великого писателя и философа (тоже лагерника, да вроде и ее сажали как жену врага народа), в молодости красавицу редкую, а в старости испещрили черты ее мелкие морщинки, словно тонкая вуаль, хотя и сквозь вуаль былые прекрасные черты светились. Такие морщинки встречаются у старых людей юга, пустыни, Крайнего Севера, у деревенских, у тех, кто ходит под ослепительным ярим солнцем — Ярилом, под ветрами — нордом, бореєм, австром. Может быть, подумал я, есть судьбы, подобные пустыне либо белому безмолвию приполярному, над которыми стоит такое ветхозаветное роковое солнце, неведомое большинству.

— Где-то я вас видел.

— Может, во сне? — серьезно спросил он. — Мне уже несколько человек говорили, что видели меня во сне задолго до того, как мы натурально познакомились. Раз уж я склонен к побегам, то и к побегам в чужие сны.

— Если честно, мое воображение долгое время занимали именно три китайца, — сказал я.

Он только брови поднял, улыбаясь.

— Прежде всего, китаец из пьесы Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Когда один из моих друзей стал заниматься личным расследованием обстоятельств смерти Есенина (и пришел к выводу, что поэт был убит), стал он читать мне свою работу и спрашивать, что я обо всем этом думаю, а я совершенно неожиданно для себя сказал ему: посмотри пьесе «Зойкина квартира», по-моему, она имеет некое отношение к случившемуся в гостинице «Англетер», а еще наркотикам, да ты заодно и к персонажу-китайцу приглядишься. Он прямо-таки отшатнулся от меня и спросил, знаю ли я, что в «Англетере» портье был китаец. Откуда мне было знать?

— Ну вот, — весело сказал собеседник мой, — а еще хотите в тени облака какие-то свойства по части ясновидения приобрести. Оно у вас и так в латентном виде обретается. Тогда о портье догадались. Мне эту историю рассказываете и не боитесь, что я стукну кому положено о вашем приятеле с его запрещенной темой об убийстве Есенина да и о вас заодно.

— Этого быть не может.

— Конечно, не может, да вам-то вроде сие неизвестно. А третий китаец кто?

— Я почему-то потом с истинным страхом вспоминал портье из гостиницы; он в голове моей связался с наркотиками, с наркоманами из властных структур: Есенин дружил с темными советскими чиновниками, может, и морфий делили, кто проверял. А третий китаец, чьего имени я не знал, — отец нашей известной ленинградской красавицы полукровки, жены талантливого художника. Он был великий разведчик, жил с матушкой нашей красавицы недолго, внезапно исчез еще до войны. Может, и сейчас он где-то обитает с миссией своей потаенной — в Англии, в Бразилии, в штате Мэн.

— Не исключено, — сказал он, закурив, — что ваши три китайца и мои три — одни и те же лица.

— Какая все-таки странная у нас жизнь, — сказал я.

— Да мы, — отвечал он, — прямо-таки притча в лицах и во языцех, картинка на тему «как не надо жить».

— Я никогда не думал, что побег из лагерей возможен. Ваши шесть побегов для меня полная фантастика. Хотя одну историю о лагерном побеге я слышал. В ней тоже было что-то нереальное. Оказывается, существовало при советской власти большевистское подполье...

— Один из моих норильских друзей, — перебил он меня, — прекрасный человек, мы дружим и по сей день, — был сыном коммуниста (расстрелянного героя Гражданской войны) и коммунистом совершенно истовым. Мы чего только с ним в лагере не обсуждали. Всё, кроме его коммунистических взглядов. Но я вас перебил, извините; я только хотел сказать, что наличие большевистского подполья меня не удивляет.

— И этим подпольем, — продолжал я, — руководили старые большевики с большевичками, в частности Стасова. Речь идет о молоденькой девушке, попавшей, как многие, в лагерь ни за понюх табаку. Подпольщики выбрали ее на роль курьера, она — по молодости — согласилась. Ей устроили первый побег, по цепочке переправили в Москву, там она передала нужные сведения Стасовой, получила инструкции,

выучила наизусть сообщение: ей надо было попасться, оказаться в лагере более строгого режима, передать, что должно. Ей опять подготовили побег, теперь встретилась она с курьером и снова разыграла свой арест, чтобы перевели ее в самый что ни на есть наистрожайший из лагерей. Там снова передала она наказы, приказы или инструкции, и подпольщики подготовили ей последний побег. После него попадаться ей уже не следовало. Пять человек легли на проволоку под током, она вышла из лагеря по трупам. Говорят, она прожила долго, жива до сих пор, живет в одном из маленьких провинциальных городов под чужой фамилией.

— Не слышал про такое, — сказал он. — Вполне правдоподобно.

— Вы из Москвы? — спросил я.

— Нет, я вернулся в родной город. Я из Тбилиси. Но бываю в Москве. Там друзья мои живут. И любимая старшая сестра. Мало того, в Москве памятник сестре стоит. Золотая статуя. Одна из шестнадцати сестер-республик СССР на ВДНХ. Скульптор был реалист, искал натуру, нашел мою красавицу сестру. Я этой статуе во всякий свой приезд розу приношу. Друзья надо мной смеются.

Позже, много позже, когда я увидел его фотографии в газетах, прочел его книги, я узнал, что Окуджава посвятил ему песню: «Без паспорта и визы, лишь с розою в руке слоняюсь вдоль незримой границы на замке». Всякий раз вспоминал я в связи с этой розою одну из притч дзен-буддизма (два друга моих помрачались на даосах и дзен, чего я только от них не слышал), где говорилось: «Прошло уже довольно много времени, а он еще не вымолвил ни единого слова, в руке его был цветок».

Несколько выстрелов прогремели со стороны монастыря, я обернулся на звук, вспомнил человека с монастырского двора.

— Это не настоящие, — сказал я собеседнику своему, — редкое здешнее прислышание со времен расстрела каждого десятого красноармейца по приказу Троцкого.

Но за те мгновения, когда отвернулся я на звук несуществующей пальбы, мой собеседник исчез, пропал, беззвучно бежал, словно его и не было.

Я пытался разглядеть, учуять движение в ночи, расслышать звук шагов, — тщетно. Лунный пейзаж, тени сиреневых кустов, сонное царство, больше ничего.

### **Спляшем, Пегги, спляшем!**

Случалось, вечерами жгли костры. Почему-то у советских людей была особая тяга к кострам, особый синдром огнепоклонников. Играли в дикарей, идущих цепочкой туристов (туризм с рюкзаками, палатками и костром, реже с байдарками, был распространен особо), в бывалых людей, в Дерсу Узала, в цыган, мой костер в тумане светит, взвейтесь кострами, синие ночи. Взвивались. Летящий над страной воздухоплаватель на воздушном шаре мог бы принять эти хаотические точки костровых огней за некие пригласительные посадочные сигналы для летающих тарелок.

Костра было два: молодежный, студенческий, где верховодили Тамилины пажи, и второй, для молодежи постарше.

У первого костра пели: «Бродяга Байкал переехал», «Динь-бом, слышен звон кандалный», «Я помню тот Ванинский порт», «В Одесском порту с пробоиной в борту», «Товарища Парамонову», «Мурку». У второго — Окуджава, романтические туристские песни вроде «Сиреневого тумана», бардовские, авторские. К двум гитарам второго костра присоединился местный аккордеонист.

Сквозь туман идя, снег, техногенный смог,  
помню, пока не умру:

двенадцать евреев и Господь Бог  
проповедовали в миру.

Норд или зюйд, ост или вест,  
navigare necesse est!  
Поставь парус, плыви, плыви  
и думай о любви.

Автор, архитектор из ЛИСИ, после припева дудел на дудочке, похожей на патрон от лампочки.

А враг не дремлет, но друг не спит,  
Делят зенит и наدير.  
Три еврея и антисемит  
решили подправить мир.  
Такой развели прогресс и дизайн,  
но не плюнули через плечо:  
из нефти вылетел динозавр,  
а за ним еще и еще.

И подхватили все:

Норд или зюйд, ост или вест,  
navigare necesse est!

В разгар войны под морзянку в эфир  
о спасении каждой души  
трубку мира выкуривал мир  
с примесью анаши.  
Нам атолл бы в бермудскую тишину,  
где двое нас, Элизабет,  
где самолеты идут ко дну,  
а ураганов нет.

Норд или зюйд, ост или вест,  
navigare necesse est!

Тут подошли, держась за руки, Тамила с Энверовым, пламень отсвета делал его лицо привлекательнее и живее, румянил ее щеки.

Но нам на двоих не найти тишины,  
остров наш уплывает в сны  
долготы без широт.  
Наши — только семь рядов до Луны,  
семь струн или семь нот.

Поставь парус, плыви, плыви  
и помни о любви!

— А кто такие три еврея и антисемит? — осведомился Времеонов.

— Четверо великих. Корбюзье-то был антисемит.

— Помилуйте, — возразил Времеонов, — но какие же Беренс, Гропиус и Мис ван дер Роэ евреи? Гропиуса его дама называла истинным арийцем.

— Они руководили созданным им Баухаузом. А фашисты считали Баухауз рассадником еврейской идеологии.

— Зачем же вставать — даже и для рифмы — на точку зрения национал-социалиста?

— Да полно, — сказал Филиалов, — если тут Двенадцать апостолов названы евреями, трех немцев тем более можно тремя евреями именовать.

— Вы только поете? — спросил Энверов. — А нет ли у вас таких песен, под которые можно танцевать?

— Танцевать можно подо все, — ответил гитарист, перебирая струны.

— А почему из нефти вылетает динозавр? — спросила Нина.

— Во-первых, потому что послезавтра я в разделе «Книжная полка» делаю сообщение о книге Сагана «Драконы Эдема». А во-вторых, нефть и есть спрессованная кровь и плоть древних саблезубых динозавров, буде вам известно.

Энверов пошептался с музыкантами, те быстро переговорили друг с другом.

И вот уже выкрикнул, стуча по гитарному тулову, а второй гитарист подстучал по подвернувшемуся к случаю вместо рояля в кустах перевернутому ведру:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Five o'clock, six o'clock, seven o'clock, rock! five o'clock, six o'clock, seven o'clock, rock!

Выхватил Энверов Тамилу за руку на маленькую полянку-пустырек, поросшую низкой травой (я еще подумал некстати: что тут было прежде? разрушенная часовня? порешенный сарай? угол монастырского сада? оторопь охватила, мурашки по спине: а что если какая очередная братская могила? и уж не то что огород на могилах, а натуральная пляска на костях, пляска смерти?), и заплясали, как полоумные, в сонный воздух ворвалась лихорадочная скорость рок-н-ролла.

— Вот оно, племя младое, незнакомое, — произнес стоявший рядом со мной Времеонов. — Смотрите, как он скачет, его, должно быть, укусил тарантул, как выражался Эдгар По. Смесь гремучая европейского заводского конвейера великих времен с африканскими ритуальными плясками мумбо-юмбо.

— Третью составляющую забыли, — сказал Филиалов. — Французский канкан.

Прыгали неостановимо, скакали, вздымая руки и ноги, взлетала Тамилина юбка «солнце-клевш».

— Тут нехотя и вспомнишь старые вальсы Вены да российских больших балов, — Времеонов снял очки, протер их уголком ковбойки. — Вальс как вращение планет вокруг некоего центра, все волчкам подобны, ветром уносимы. А эти пляски конвульсивны, отчасти судорожны, катастрофа шаманская.

— Полно вам, — откликнулся подошедший Титов. — Молодость, силы некуда девать, птичьи брачные танцы.

— Чего поют-то, слышите? — сказал Филиалов. — Круглые сутки — рок, рок, рок. Брачные танцы? Роковые яйца. Птичьи, согласен. А птицу Рок помните?

— Это которая над кораблем из сказки зависла со скалой в когтях?

— Именно. Кстати, и скала тоже имеется — рок.

Но весело и хорошо было плясать этой паре, весело и отчаянно хорошо было им вместе в это мгновение и в некоторые из предыдущих. Однако я почему-то устал, глядя на них. Почти с дыхания сбился, как на лыжной гонке.

И, на мое счастье, выкрикнул гитарист:

— Время вышло!

Разом замолкла музыка, танцоры вышли из круга, Тамила раскраснелась, глаза ее блестели, блестели зубы улыбающегося Энверова.



Они направились было прочь, но перед Тамилюю возник Филиалов — как из-под земли: только что рядом со мной стоял.

— А со мной станцуете? — спросил он. — Не изволите ли со мной станцевать, окажите мне честь.

Рядом с красавцем Энверовым в белой рубашке Филиалов выглядел особо карикуатурно: вечно мятые брюки, нелепая курточка, лысоватый, тени под глазами, остро пролепленные скулы, нос уточкой, заштатный чиновник, Акакия Акакиевича сосед.

— Мне бы дух перевести, — сказала Тамила, улыбаясь, обмахиваясь платочком.

— Я же вас не на скачки с препятствиями безлошадные приглашаю, — с полупоклоном вымолвил Филиалов. — На танец-с, сударыня.

— Прямо сельский клуб, — осклабился Энверов.

— Так сельский и есть, — ответил Филиалов каким-то совершенно другим голосом.

Энверов даже стал его разглядывать.

— Да я согласна с вами станцевать, согласна, — сказала Тамила.

Теперь настала очередь Филиалова шептаться с музыкантами.

И под детскую песенку Филиалов, заложив левую руку за поясницу, сняв курточку, оставшись в дурацкой жилетке поверх неглаженной черной рубашки, картинно вывел свою даму на неведомый лужок.

У Пегги был веселый гусь,  
он знал все песни наизусть.  
Ну до чего же умный гусь!  
Спляшем, Пегги, спляшем!

Как ни странно, этот нескладного вида докладчик был из тех не очень многочисленных существ, в которых вселился бес танца. Одержимые, они подчинялись известным только им ритмам, наборам и стилям движений с легкостью, особой элевацией на всех широтах и долготах всех народов мира. Один из моих соучеников, прекрасно танцевавший на институтских вечерах, сказал мне однажды в ответ на комплименты мои: «В детстве я с отцом из дипломатического корпуса жил в Южной Америке; и лучшая танцовка изо всех, кого я видел, была толстая негритянка в летах».

Филиалов, картинно и изящно вытянув руку, вывел Тамилу, чтобы показать ее зрителям, он импровизировал, придумывал па и коленца на ходу. Тамила слушалась, обучаясь на глазах; ей было превесело; улыбаясь, она пускалась вприпрыжку; крутясь по кругу, обходила, изгибаясь, вставшего на колено партнера, топотала каблучками.

У Пегги был смешной щенок,  
он танцевать под дудку мог.  
Ах, до чего ж смешной щенок!  
Спляшем, Пегги, спляшем!

Вместо дудки дудел гитарист почем зря в патрон от лампочки. Все уже подпевали последнюю строчку, приглашая Пегги сплясать.

У Пегги старый жил козел,  
он бородой дорожки мел.  
Ах, до чего ж умен козел!  
Спляшем, Пегги, спляшем!

В детстве водили меня, маленького совсем, на «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», на даче в деревне в старших классах ходил я в клуб на «Сковородку» — так называлась сельская танцплощадка; танго, вальсы и фокстроты «Сковородки» и институтских вечеров были школой прикосновения к телам девушек. Но понял я — что такое танец — именно в тот свияжский вечерок, глядя на Филиалова и Тамилу. Не six o'clock, sex o'clock, брачная пляска долговязых птиц, не мистические пассы шаманские, не привычный ритуал маршеобразных посиделок и карнавалов, — что-то вроде искусства настоящих художников (неважно, гениальных или мало-мальски способных), неизвестно отчего, непонятно для чего, но почему-то жить без этого уныло и нелзя.

Филиалов, в заключение взяв свою даму за талию, поднял ее на воздух, взлетела черно-лиловая юбка, — и поставил Тамилу (выбрал, видать, место, пока по кругу скакали) на малый холмик перед огромным, в буйном цвету, сиреневым кустом. Он знал, как все мы, что Тамила зародилась из сирени.

Она улыбалась, зрители улыбались, один из Тамилиных пажей, штигличанский студент последнего курса отделения промышленного искусства дизайна, до Мухинского учившийся в цирковом техникуме, выйдя на середину лужка, сказав: «Браво!», встал на голову. Так выражал он особо сильные чувства, и в институте, и на территории семинара.

Все были почему-то счастливы, кажется, кроме Энверова, с чьей возлюбленной неожиданно лихо сплясал старый козел в мятой рубашке.

Я пошел провожать Нину, мы заговорили о сирени.

— Дело не только в том, что самая моя любимая картина Врубеля именно «Сирень», — сказал я. — Но у меня с детства к сирени чувство телка, мне хочется ее... съесть, что ли...

— Так мы ее и едим, — откликнулась Нина. — По цветочку, по счастливому пятилепестковому: выискать, желание загадать, и пяти- а если повезет, и шестилепестковый съесть. И не останавливаешься на одном желании, придумываешь еще и еще, выискиваешь, она и горьковата, и сладковата, но поскольку ты не пчела, распробовать не успеваешь.

— И живописать ее можно бесконечно, — сказал я. — Врубель писал трижды, Кончаловский не счесть, сколько раз. Сколько ни пиши, не получается, все выходит не то и не так, она ненасытима, жажда неутолимая наших родимых мест. Почему это врубелевскую сирень называют сумрачной? Скажи, ты видела сирень после дождя?

— Да! — отвечала она. — Сияющие грозди в каплях, большие, крутые, как котятка.

Мы подходили к ее дому, у меня пересохли губы, мне казалось, что слова мои шлепятся, и она может это заметить.

— Я один раз чуть не угорела от сирени, — сказала Нина. — Комната в тетушкиной избе была маленькая, я наломала огромный букет, ночью пошел дождь, окно закрыла, дверь затворила, меня еле добудились, от сиреневого ацетилена голова болела полдня. А помнишь про сирень в романе...

Конечно, я помнил, она собиралась что-то сказать про мой любимый роман «Обломов», как там пропали сирени, отцвели, но я не дал ей закончить предложение.

Мы целовались, стояли, обнявшись, прижавшись друг к другу. Было хорошо, как никогда.

Нина отстранилась и сказала:

— Да, я согласна.

— Что?

— Я согласна. Я выйду за тебя замуж.

Секунду стоял я как вкопанный, хотя все время знал, что она согласится.

— Но, — сказала она, — давай мы сейчас не пойдем ни на сеновал, ни на чердак, ни в мою комнату, ни под кустик. Мы поедем в город, там ты за мной немножко поухаживаешь, а потом мы поженимся. Ты обещал.

— Годится, — отвечал я, хотя уже и позабыл, что я там обещал, да это и не имело значения.

Хлопнула за ней калитка, за калиткой дверь, вспыхнул свет в ее оконце, но окна она не открыла, к оконцу не подошла, я пошел, как спьяну, в свой дортуар женской краснокирпичной гимназии, думал, что не усну, однако уснул как убитый и снов поутру не помнил.

### Пульхерия и Авенир

Двух ленинградских дизайнеров, содокладчиков, работавших вместе — и друживших, — Левандовского и Кушнарева, Времеонов, специалист наш по фамилиям, называл Левантом и Кушантом.

Левант было слово понятное, я буду думать о Леванте, от французского «levant» («восток», место, где восходит солнце); «couchant», напротив, обозначало «запад», еще одно значение — не «закатиться» либо «сесть», но «лечь». Кушнарев и впрямь любил то растянуться на скамье, на лавочке, то залечь на полосе пляжного песка, то на кровати, отведенной ему в нашем гимназическом общежитии. Он был склонен к полноте, приветлив, голос негромкий, симпатичное, открытое лицо. Левандовский же не столько ходил, сколько пробегал, поджарый, спортивный, двигательно деятельный. Они и на дипломе разделили общую тему, их распределили в одно огромное номерное предприятие. Работая вместе, они прекрасно понимали и дополняли друг друга. Мне потом рассказывали, что они и женились-то на сестрах, но, кажется, не на родных (и не на близнецах), а на двоюродных.

На своем предприятии с туманным названием «Волна» чего только они не проектировали: приборы, станки, засекреченные изделия, брошюры, инструкции и выставочные плакаты, этикетки, даже интерьеры; в последнем случае хаживали они в Мухинское, в Alma mater, консультироваться на кафедре интерьера.

В сообщении их на нашем семинаре показывали они мебель, точнее, часть спроектированной ими и выполненной на их фабрикозаводе мебели, — кресло и табуретку. Как знаменитые кресла и стулья великих дизайнеров прошлого, и у кресла, и у табуретки были имена: кресло звалось Пульхерией, табурет — Авениром.

Текст читал Левандовский, Кушнарев показывал диапозитивы, на которых снова увидели мы исторические стулья и столики из металлических трубок, а также встреченную мной в ленинградских квартирах не единожды великолепную блистательную прабабушкину кровать: никелированная трубчатая конструкция с шарами и шариками, напоминавшими шарикоподшипники и елочные игрушки; в больших шарах спинки повыше и спинки пониже отражались окна, лампы, интерьеры, хозяйева и гости.

В конце доклада Тамилины пажы вытащили на сцену блещущую серебром парочку. Спинку, сиденье и подлокотники Пульхерии заполняли мягкие, казавшиеся надувными подушки из кожи, а Авенир был словно из фантастического будущего: открытая конструкция, бар космической фешенебельной станции из фильма по роману Лема, напрымер.

Нереальные, нездешние предметы, сияя, красовались на сцене. Кто-то спросил из рядов: а сидеть-то на них можно? или это бутафория, макет? Только что объяснявший, как регулируются по высоте и наклону (работа — отдых — удобное положение для людей разного роста и комплекции — эргономические зазоры — линия Аккерблома) спинки и подлокотники, Кушнарев двинулся было показать, усесться, подрегулировать на глазах у публики, Левандовский за ним, но вопрошающий из рядов сказал: нет, нет, пусть посидит на них кто-нибудь, кто видит их впервые. Тут из первого ряда поднялся Титов, сделал знак сидевшей неподалеку Тамиле, они взошли на сцену.

Высокий Титов в серо-стальном элегантном костюме, с никелированной сверкающей булавкой в галстук (из карманчика пиджака торчала таковая же ручка) моментально подрегулировал спинку и подлокотники Пульхерии, уселся и развел руками: вот, убедитесь.

Невысокая Тамиле разместились на серебристой конструкции Авенира, поставив ногу в босоножке с блистающими заклепками на приступочку, делающую табуретку похожей на барную мебель. На запястьях Тамилиных блестели серебром плоские широкие браслеты с маленькими висячими цепочками, напоминавшие наручники. Сговорились, что ли? Нет, полная импровизация, их стали фотографировать. У меня фотоаппарата не было, но я получил уже в Ленинграде фото на память в подарок. Долгие годы оно лежало в моем ящике с фотографиями, то теряясь в ворохе, то находясь, пока не исчезло. Походила запечатленная сценка на кадр кинопробы: улыбающийся, разводящий руками Титов, вот, пожалуйста, сию, как видите; ямочки на щеках Тамиле, ее улыбка, поднятая в приветствии рука, правая ножка на приступочке табурета, левая касается носком босоножки пола возле колесика одной из опор Авенира. В воображении моем на черно-белом прямоугольнике фотографии окрашивались цветом темно-вишневый галстук Титова, Тамиле черно-фиолетовое шелковое платье, черно-сливовый бархатный пиджачок, все блики вспыхивали навстречу фотовспышке, не хватало разве что ожерелья из шарикоподшипников. Мебель будущего, которое промедлит с наступлением на много десятилетий, загадочная глагольная форма *future-in-the-past*.

### **Карл и его драконы Эдема**

Нечто происходило тогда со временем в Свяжске, как это часто бывает на островах и у воды.

Многие сообщения, доклады, семинарские обсуждения, на которых хотелось мне побывать, происходили в разных местах синхронно — успеть всюду не получалось, в иные дни я перебежал из дома в дом, из зала в комнату, однако от многих интересующих меня тем доставался мне лишь хвостик, концовка, листочек с тезисами в лучшем случае, тетрадка с Ниниными конспектами.

Так, к рассказу о Тейяре де Шардене прискакал я к шапочному разбору; зато ожидала меня история о Карле Сагане и драконах Эдема.

Как классический представитель советской образованщины, знающий Дюринга по «Антидюрингу», представление о Тейяре де Шардене черпал я из вольных устных пересказов и трактовок.

На самом деле манера пересказывать прочитанное на свой лад не так и плоха, как понял я впоследствии, надолго засева перед телевизионным циклом передач некоего Иннокентия Иванова, причесанного на косой пробор человека с не вполне актерской дикцией, заявлявшего: «Мы говорим обо всем своими словами». Да и бли-

стательный Хорхе Луис Борхес, слепой библиотекарь, хотел, я полагаю, незамедлительно и по-быстрому познакомить нас всех с библиотекой Вавилона времен и пересказывал, как мог, все и вся.

Биография де Шардена, рассказанная разными людьми и прочитанная отрывками мною самим, никак не вмещалась в биографию одного человека.

Поначалу он представлялся мне кабинетным философом, аристократом, в уединенной тишине писавшим работы свои. С трудом уложилось в голове моей, что он был ярым католиком, закончил иезуитский колледж, что вся его жизнь была жизнью монашеской, миссионерской, тесно связанной с католической церковью. Потом я узнал, что он был одним из первых первооткрывателей синантропа в горах Чжоукоудяня близ Пекина, *rekinensis*, совместно с Пэй Вэнь-Чжуном, Анри Брейлем — международной командой археологов, работавшей в пещерах с 1927-го по 1931 год. Именно Тейяру обязаны мы свидетельствами использования синантропом примитивных орудий и огня.

А в 1931 году де Шарден принял участие в знаменитом «Желтом круизе» Ситроена (чей отец был родом из Одессы и носил там фамилию Цитрон...) — дорогостоящей опасной технической, научной и культурной экспедиции на четырнадцать полугусеничных транспортных вездеходах — «ситроенах». Из-за осложнившейся геополитической обстановки Ситроену пришлось отступить от намеченного плана — экспедиция разделилась на две группы. Первая — «Памир» — шла из Бейрута через Гималаи, вторая — «Китай» — пересекала пустыню Гоби, чтобы встретиться с «Памиром» и вместе вернуться в Китай.

По удивительному стечению обстоятельств в состав «Желтого круиза» входил русский художник Александр Яковлев (Арлекин из парного портрета «Пьеро и Арлекин», написанного им вместе с его другом Шухаевым). Яковлев написал внушительных размеров полотно (около двенадцати квадратных метров), на коем запечатлел всех участников экспедиции, ситроеновские вездеходы, песок пустыни. Среди прочих видим мы на картине и Тейяра де Шардена.

Косвенным последствием раскопок экспедиции и встречи с Гоби было то, что Тейяр получил много свободного времени для разработки своих идей, философских, эволюционных, теологических: он оказался взаперти. После июля 1937 года, когда Япония начала войну по захвату всего Китая, де Шарден не успел эвакуироваться и оказался на десять лет почти изолированным в посольском квартале Пекина, затворником запретного города Духа. С 1937-го по 1946 год он поддерживал связь с внешним миром лишь перепиской, работал над трудом своей жизни и заботился о сохранении драгоценных палеонтологических коллекций миссии.

В 1946 году с готовой рукописью «Феномена человека» он вернулся в Париж. Разрешения на печатание от своего иезуитского ордена он не получил. На долгие годы его основной труд остался под спудом: многое в нем казалось генералу ордена и всей иезуитской верхушке подозрительно неортодоксальным, антидоктринальным, а в 1951–1954 годах ему даже запретили ездить в Париж и преподавать. И в 1951-м он принимает предложение, связанное с работой в США и руководством археологическими раскопками в Африке. За год до смерти, уже живя в Нью-Йорке, он напишет: «Все приключения в области духа — это Голгофа». Он успел дважды посетить места предполагаемых раскопок в Южной Африке, побывать в замке Сарсена, в Оверни, где он родился. В 1955-м он умер в Америке от сердечного приступа.

Я узнал от одного из своих друзей, что во время Первой мировой войны Тейяр был мобилизован, прошел всю войну санитаром, получил военную медаль и орден Почетного легиона.

Другой мой друг позже, много позже прочитал в Интернете о парижском знакомстве Тейяра и дружбе с Вернадским, о родственности их идей.

Его матушка была родственницей Вольтера: должен же был кто-нибудь в семье отомлить вольтерьянское безбожие. Полное имя родившегося 1 мая 1881 года мальчика было Мари Жозеф Пьер Тейяр де Шарден — вот и биографий в биографии его было на четверых.

В Оверни, где жил он в детстве, поговаривали об обитавшем в горах и возле города Орийяка первобытных людях.

В горах было много потухших вулканов. Первое, что я запомнил о Тейяре раз и навсегда, — его детское бегство из дома в горы.

Уж не читал ли докладчик «Книжного обозрения» доклад о «Феномене человека» в обратном времени? Докладчик напоминал синантропа, бородатенький, круглоголовый. Когда я к шапочному разбору прокрался в зал, пропустив и полную биографию, и все о ноосфере, точке Омега, коллективном духе и разуме, Сверхжизни, — он заканчивал выступление свое.

— В шесть лет Пьер исчез из дому, его с трудом нашли на дороге, ведущей в горы: по его словам, он шел «посмотреть, что находится внутри вулканов».

После чего похожий на синантропа ушел со сцены, и его сменил веселый румяный мэнээс с вихром либо чубом на лбу, собирающийся поведать нам о Карле и его драконах Эдема, — по материалам, как он выразился, неопубликованной статьи, созданной Карлом Саганом перед защитой диссертации о происхождении жизни.

Мэнээс (так и в программке было помечено — МНС, то ли инициалы, то ли младший научный сотрудник) оглядел трибуну докладчика, она ему не понравилась, попробовал было приземлиться на стул за столом, да не понравились ему подлокотники, поэтому присел он на край стола, бочком, наподобие амазонки, да еще и ногой в сандалетке время от времени побалтывал. Этот человек в клетчатой ковбойке и видавших виды туристских брюках вообще был свободен до крайности, почти развязен.

— Автора, о котором идет речь, — начал он, на секунду заглянув в мятый клочок бумаги, видимо, с тезисами, — будем называть Карл С. Фамилию его вы узнаете по его редкому имени да по названию будущей книги — «Драконы Эдема». Книга задумана, одна из глав написана черне, общие тезисы существуют, но автору пока некогда заняться осуществлением своего плана. Книга появится непременно, но когда — не знает никто. Может, через пять лет. Может, через десять. Вы встретитесь с ней, и моя цель — заинтересовать вас, сделать так, чтобы вы запомнили, о чем в ней идет, то есть пойдет, речь, не пропустили ее в суете дневной. Книга эта доставит вам немало радости, развлечет вас, поведает вам нечто о человеке, заставит вас задуматься.

— Да откуда вы знаете, — спросил некто из рядов, — что автор вообще ее напишет?

— Он мне сам сказал, — жизнерадостно ответил докладчик, — а все намерения свои осуществляет он непременно.

— Этот ваш Карл — ученый из Москвы? — последовал второй вопрос из первого ряда.

— Он иностранец.

— Где же вы с ним виделись? — спросил, улыбаясь, Времеонов.

— На одном из западных симпозиумов. Впрочем, может, то был коллоквиум. Или конференция. Какая разница? Кстати, тогда же он с одним из наших популяризаторов науки задумал общую книгу, она выйдет вскорости.

— Ваш Карл биолог? — спросил Энверов.

— Он астроном, астрофизик, экзобиолог, популяризатор, физик, преподаватель астрономии и так далее. Работал с генетиками, планетоведом Джеральдом Койпером,

физиком Георгием Гамовым. Вторая диссертация его связана с происхождением жизни, первая — с астрофизикой.

Отец нашего автора, Самуил С., родился в Каменец-Подольске. Дед и бабушка по материнской линии эмигрировали в Австро-Венгрию, где дед был лодочником на реке Буг, к востоку от Львова. Мальчика назвали Карлом в честь бабушки Клары, которую он никогда не видел. Так что по мнемотехнической части вы можете к образам райских драконов добавить знакомую с молодых ногтей фразу: «Карл у Клары украл кораллы». Несколько слов — вполне некстати — о драконах. Однажды нанялся я на лето на раскопки в археологическую экспедицию в Старой Ладогге. Там на одной из фресок Георгиевской крошечной чудной церкви святой Георгий (Егорий, как местные его именуют) побеждает дракона не копьем, а силой духа или мысли, и освобожденная дева Елисава, сняв пояс, обвязывает им шею дракона, следующего за ней в итоге, как послушная собачонка на сворке, то есть поводке. А раз уж мы тут — пара слов об Эдеме. Интересно, что на фресках свияжских храмов нет ни одного изображения геенны огненной, Ада: только Рай. Притом что в сонме святых присутствует изображенный в компании святых Иван Четвертый Грозный, чья святость, мягко говоря, сомнительна, а также песьеголовый, без имени, то ли египетский бог, то ли покровитель путешественников, святой Христофор.

— А сами вы кто по профессии? — перебили его из первого ряда.

— Я математик, — отвечал докладчик, одарив вопрошающего сияющей улыбкой своей. — Но вернемся к нашим баранам, как французы говорят. И в будущей книге, и в прочитанной мною главе речь о том, что в нас присутствует вечное противостояние рептилий (змеев, драконов, динозавров) и кротких (большей частью) млекопитающих, наших пращуров, с которыми мы паритетно в родстве. Но саблезубый динозавр, монстр, веками, тысячелетиями блокировался в человеческом мозге, в человеческом существе: религией, наукой, искусством, правилами и законами общежития, воспитанием.

Рептилии, млекопитающие и наработки по разумной части представлены в нас, дамы и господа, дорогие то есть товарищи, разными отделами мозга. Если мы испытываем чувство агрессии, приступ ярости, немотивированной жестокости или пещерного древнего ужаса, значит, хищник в нас сорвался с цепи. Время от времени змей либо дракон выползает из архаической части мозга, стремясь занять высшую ступень в иерархии. А если учесть, что правое и левое полушария выполняют разные функции и не всегда пребывают в гармонии, можно наконец уяснить себе, как трудно каждое утро просыпаться приличным человеком, Homo sapiens'ом, и оставаться им до наступления ночи. Будьте начеку, не давайте своему дракону проснуться и восторжествовать, запомните название книги, которая встретится вам в будущем. А я заканчиваю свое сообщение извинениями за некоторую его краткость и некорректность и — убегаю, потому что опаздываю на катер.

Соскочив со стола, вихрастый математик в ковбойке вылетел на улицу, за ним следом помчался Энверов, вышел и я, поскольку сидел рядом с дверью.

Энверов настиг докладчика, они разговаривали, математик в ковбойке переминался с ноги на ногу; отвечал он Энверову весело, пару раз даже рассмеялся, наконец удалось ему откланяться и убежать.

Некоторое время шел я за Энверовым и догнавшей его Тамилей. Я слышал их голоса, они не обращали на меня внимания, все расходились, рассредотачивались в вечерней мгле.

— О чем ты с ним говорил?

— Я хотел нанять его.

— Как — нанять?

— Ну, пригласить на работу. Он ведь действительно один из лучших наших математиков, ум оригинальный, разносторонний, я навел о нем справки.

— Когда же ты успел о нем узнать?

— Ты вообще меня недооцениваешь.

— И что? Он согласился?

— Нет. Он, видишь ли, такая неудобоваримая помесь советского упряма с российским. Деньги его, как он выразился, не особо волнуют, главное — чтобы работа была интересная. Я его спросил: что ему нужно? Не пристроить ли его на службу в какое-нибудь достойное место за рубежом? Да я при желании, отвечал он, и сам туда пристроиться в состоянии. Тогда, спросил я, может, он хочет переехать в Прованс или во Флориду? Нет, не хочу, отвечал он. Чем же мне вас соблазнить? — спросил я. Если у вас будут деньги и свобода, у вас будут и прекрасные женщины. Тут он расхохотался и сказал, что не понимает, какие могут быть проблемы с женщинами. Первая любовница, сказал он, у меня появилась еще в школе, в восьмом классе. Простите, сказал он, меня катер ждет, я рад, что мое сообщение вас заинтересовало. И ускакал.

Они спустились к воде, я пошел к Нининому дому. В ее окне горел свет. Неподалеку на одном из пустырей горел молодежный костерок. Пели:

Мама, я жулика люблю!  
Мама, я за жулика пойду.  
Жулик будет воровать,  
А я буду торговать,  
Мама, я жулика люблю!

Я сделал круг, глянул на скамеечку, на которой сживал Иван Грозный, меня охватила печаль, динозавр заворочался в одном закутке мозга моего, архаический страх из соседнего уголка шлепнул его ладошкой.

### Популярная механика

С театрального появления Филиалова и всей свиты его мелких шумливых персонажей началась в моей жизни некая глава, длившаяся (с перерывами, по одним только этим перерывам и возобновлениям сюжета можно догадаться, что время дискретно) долгие годы.

Тамилины пажи, вооруженные маленькими ключиками, всем ведомыми с детства (я даже к концу вечера усомнился: уж не должна ли была моя любимая книжка называться не «Золотой», а «Заводной ключик»?), запустили под ноги докладчику и себе целое стадо мелких заводных игрушек: скакали гладкие железные, с острыми птичьими лапками, лягушки; остервенело клевали, надвигаясь на слушателей, жестянки-курочки; неслись мотоциклы с мотоциклистами в касках и обезьянами с непокрытыми головами; целый автопробег разномастных автомобилей, легковых и грузовых, пер на обомлевших участников семинара; носились, описывая несуществующие восьмерки, мальки-автобусы; выныривая из вэдээнхашных павильончиков, зеленых нейтральных лужаек, прыгали зайцы, кенгуру; переваливались клоуны; тряслись, самомасштабируясь, слоны, медведи, жирафы.

— Аки пружи... — выдохнул за моей спиной молодой человек, чьи длинные волосы (тогда не было моды на длинноволосых) выдавали в нем редко в те времена встречающегося семинариста или молодого священника.



Железные создания помалу затихали, их заводили снова; заводные куры, обскакав всех, скакали, точно Тамерланова конница.

— Устрашающе... — сказал Времеонов.

Молодые пажы отскакивали, уворачивались от гроыхающих малюток, совершенно свободно чувствовал себя только Филиалов, интуитивным чутьем танцовщица, степиста, что ли, чувствующий, куда поставить ногу, чтобы не наступить или не споткнуться, бестрепетно приближавшийся к авансцене.

Из двери выпущены были самые скоростные автомобили, засновавшие в толчее маленького стада, сбивая задумавшихся лягушек и кур, остававшихся, дрыгая лапачи и стрекоча, лежать на боку после столкновения.

Хохотал до слез сидевший в первом ряду Энверов, громко выкрикивал:

— По лапам, колесом! По клюву, по хвосту! мордой в бок!

Он был в таком возбуждении, заводе и восторге, что у меня мысль мелькнула: уж не нанюхался ли он кокаину? не накурился или анаши? не мухоморчиков ли на костерке для кайфу наварил?

Наконец цирковой паж вынес на столик докладчика часы-ящик, Филиалов слегка подвел стрелки — и из распахнувшегося окошечка высунулась, выскочила на пружинке железная кукушка: она махала маленькими крашеными крыльями, разевала клюв, орала свое «ку-ку»! На двенадцатом «ку-ку» вдвинулась она в свою нишу, дверка захлопнулась, затихло, дотрепыхалась вся утино-лягушачье-куриная саранча, заглохли все моторы, замолк Энверов, и в наступившей тишине Филиалов начал свой доклад, обозначенный в программке заголовком «Популярная механика».

— Часы, которые видите вы перед собою, господа, имеют прямое отношение к механическим игрушкам, валяющимся у меня под ногами, к игровым автоматическим инсталляциям, роботам, кинематическим устройствам, к зарождающейся арт-механике, механическим картинам, автоматам и автоматонам восемнадцатого столетия, механоидам эпохи барокко, японским подающим чай куколкам-каракури и французским и английским жакемарам, которым уже лет двести или триста.

Именно изобретение и усовершенствование часового механизма, его колесиков, пружин, шестеренок и передач превратили единичные аристократические фигуры, восходящие к древнеегипетским мистериям и к пневматическим божествам и актерам Герона, в только что увиденную вами массовку. Чтобы запустить последнюю, нам понадобился ключик, похожий на тот, которым спокон веку заводили часы. Герону, чтобы запускать его автоматы, потребны были падающий груз, струя воды или струя песка. Нам остается только вспомнить — чтобы отдать им должное — ходячую статую Дедала в Афинах и летающего голубя Архита Тарентского.

Тут один из пажей принес стремянку и подвесил к потолку белую птицу — мобиль, непрерывно махавший крыльями слева от докладчика.

— Голубь мира, — сказал Энверов, хохотнув.

— Чайка с занавеса МХАТа, — возразил Титов.

— Белая ворона, — сказала Нина, и все рассмеялись.

Повесили на заднике сцены экран, поставили диапроектор, принесли магнитофон.

— Итак, — продолжал Филиалов, — все мы знаем, что автомат или автоматон — заводной механизм, напоминающий человекообразного робота. Другое название этих изошренных кукол — механоиды. Были еще и мелкие заводные куклы — фигурки, чаще всего встроенные в корпуса больших часов, водившие хороводы, возникающие и прячущиеся жакемары, иными словами, жакушки и джекушки. Jack было название главного инструмента, используемого механиками-часовщиками, строящими башенные часы. Хочу обратить ваше внимание на то, как тесно связаны с изменением человеческого сознания и образа жизни способы измерения време-

ни. Когда-то время определяли по солнцу, по луне, по звездам, как, например, мореплаватели. Люди изобрели солнечные часы, разумеется, южане, жившие на солнечной стороне Земли. Существовали водяные клепсидры и песочные часы, мерные свечи, позже звон церковного колокола сообщал слышащим его посвященным, который час.

И вот явились изобретатели-часовщики («он был колдун, часовщик, он одушевлял вещи»), сцепились шестеренки, двинулись стрелки, качнулись на цепях пыточные гири, закачался туда-сюда маятник, новое время явило adeptам своим круглое лицо циферблата.

Быстро темнело, куст сирени стоял в окне, дело шло к тому, чтобы включить магнитофон и диапроектор, Филиалова слушали внимательно, в тишине присмирившего зала звучал голос его.

А мне в эту минуту остается только вспомнить будущее, двигавшееся навстречу Свяжску дней юности моей. Позже, много позже волею судеб оказался я в Англии, точнее, в Шотландии, не в туристической, но отчасти деловой поездке, связанной с конференцией художников, керамистов и стекольщиков; я входил в группу дизайнеров-монтажеров передвижных выставок.

Маленький музей подле Московского проспекта уже вошел в нашу с Каплей жизнь, но пока тихо, радостно, в виде первого ознакомительного посещения. Поэтому с удовольствием великим, попав в Глазго в Mechanical Cabaret Theatre, театрик автоматов и кинематографических устройств начала двадцать первого века, где множества маленьких жакемаров неустанно трудились и шерудились вокруг очарованных, развеселившихся слушателей, получил я в подарок диск с изображениями малюток и буклет кабаре-театра, предвкушая, как будем мы дома с Каплей и Ниною увеселяться приключениями всей этой мелочи с открытыми конструкциями передач, зубчатых колесиков, шестеренок, трансмиссий и рычажков из дерева, пластика и металла. Кто только не трудился тут на ниве кулибинского изобретательства веселых шотландских мастеров!

В большинстве своем мелкие кинематоны снабжены были этикетками с названиями: «Пловец», «Лодка с гребцами на волнах», «Всадник», «Поедатель мышей», «Пожиратель рыбок» (особо уморительный поедатель-пожиратель сидел в ванночке, наполненной сосисками, ел их безостановочно *da capo al fine*, сосиски не убывали, вспомнилась строчка поэта Дроздова: «Любимая в углу сосиски ест, уничтожая их, как пилорама»), «Пропилеи», со скачущими из пропилеи в пропилею овцами (я сразу же представлял себе это охрнительное стадо перед пропилеями Смольного), «Танцор», «Стрижка», «Дрессировка», «Вольтижировщица и циркачка», «Рыбки», «Заяц со скакалкой», «Диалог», «Механический кот побольше, играющий с механическим котом поменьше» (игрушка со своей игрушкой), «Бегущий пес», «Бесконечное отъедание львом башки дрессировщицы» (голова возвращалась на место, лев отъедал ее снова и снова), «Игрок на банджо», «Кот ест колбасу», «Забивание гвоздя», «Сверловщик» и так далее. Особую роль в экспозиции играл египетский бог Анупис. Почему изобретатели зациклились именно на этом широкоплечем, с тонкой талией, с длинной, узкой профильной собачьей головой, осталось тайной. Два Ануписа ехали на тандеме. Анупис делал зарядку. Трио пляшущих Ануписов. Анупис — всадник. Апогеем являлся «Анупис, приносящий кофе в постель Олимпии». Маленькая деревянная Олимпия, карикатурно похожая на свой прототип с хрестоматийной картины Мане, и египетский шакальеглавый с подносилом возле ее кровати; на подносе, кроме кофе, стояла бутылочка абсента. Рядом наблюдала сию сценку фигура чертика, у которого росли рога — выростали на глазах у веселящихся посетителей.

Когда еще в институте я учился, один из самых талантливых рукоделов-дизайнеров, из группы младше меня на курс, на кафедре «Заводная игрушка» к своему проекту из подручных средств (видать, пару заводных лягушек-курочек и старый будильник разобрал) сделал еще и действующую модель под названием классическим «Чертопханов и Недопюскин». Чертопханов, по ассоциации с Черепановыми, — два бесенка, побольше и поменьше, на паровозике с колокольчиками катались. Чертенюк из Глазго напомнил мне этих бесенят: одна семья.

Неведомо, что мог бы значить этот всплеск интереса к механическим заводным игрушкам, кинематоном механической анимации как таковой. В конце двадцатого века и в начале двадцать первого наблюдали мы поистине новую волну, new wave, как местные уездные англоманы говорят.

Однако, в отличие от юмористов из Глазго, Скандинавии, Германии, отечественные господа оформители тяготели к некоему романтическому стилю: одна из работ ведущего арт-механика страны Виктора Григорьева так и называлась — «Романтическое путешествие»; названия других тоже говорили сами за себя: «Сон маленького Чкалова», «В погоне за счастьем», «Мечта о театре». Разве что в автоматических его партиях звучала нота юмора, если можно так выразиться, — в «Икарушке» и «Ихтиандрушке», например. Но все кинематоны его стилистики, виденные мною, напоминали глюки, сны, рисунки сумасшедших или еще только сходящих с ума почти незаметно. Они словно составлены были из фрагментов разных игрушек, разломанных и собранных: вот перепончатое крыло-парус, вот светящийся монгольфьер, маска полуптицы, полу-Бригеллы, корабль на колесах, песочные часы, «Наутилус» в разрезе. Какая эклектика! Немножко ужаса, доля бреда, и — как некогда формулировали само понятие дизайнера — все это «обогащено средствами искусства». Фантастично, рукодельно (но и рукоблудно), чудный художественный конструкт. Словом, снова вошли в моду древнегреческие создатели движущихся кукол и декораций тавматурги. И не исключалось, что вот-вот телезрители увидят ремейк с нотами хоррора под названием «Господин тавматург».

— Восемнадцатый век, — продолжал Филиалов прevesело, — известен как время изобретателей: фон Кемпелена, Пьера Жака Дро с его автоматами «Писарь», «Рисовальщик» и «Музыкантша», Кулибина с его часами с птицами, любимца Петра Первого Брюса с его таинственными девушками-андроидами.

Но существовали и созданные монахами-францисканцами пятнадцатого века садовники-автоматы, заводной монах шестнадцатого века, молившийся за короля Испании, а в семнадцатом веке у русского царя Алексея Михайловича, в Коломенском, по обе стороны трона стояла пара механических львов: они рыкали, вращали глазами, «зияли устами». Да что далеко ходить: у Ивана Четвертого Грозного, сживавшего на скамеечке возле стоящей неподалеку Троицкой церкви, по свидетельству иностранных послов, имелся автомат-слуга — «железный мужик», побивавший медведя, прислуживавший гостям. Гости не верили, что мужик не настоящий, — царь позвал трех мастеровых, открывших спрятанные под одежкой «железного» крышки, где были шестерни и пружины. Царя нашего Ивана, по прозвищу Грозный, по прямому имени Тита и Смарагда, в постриге Иону, тирана, самодура, садиста, диктатора, человека высокообразованного и начитанного, оторопь гостей при виде шестеренок «слуги» привела в неслыханное веселье, изволил смеяться зело.

И вот уже отпели петух и павлин часовые, отловил рыбку серебряный аглицкий лебедь, плывущий под музыку по струям стеклянным, отыграли на струнных мартышки, на барабанах и клавишах красотики и красавчики, — настало восстание масс. Ведь тут у нас полно дизайнеров, не так ли? адептов серийности с тиражностью? Вместо фарфоровых панночек Вия да гофмановских дев-исчадий пошли серийные

барышни с кудряшками, в капорах для среднего сословия, — вариант для тех, кто побогаче, модификация для тех, кто победнее. Поставили на поток и механических скромных зайчиков, и заводную лошадку, с машинкою, с заветным ключиком.

Оставались, самой собой, всплески, отменить их невозможно: один мастер девятнадцатого века, Карл Б., создал, например, трехликую куколку с поворачивающейся головой, нужное лицо выставлялось по фасаду: личико веселое, личико печальное, личико спящее. Два, в данный момент ненужных, лица прятались под капором либо чепцом — этакая доморощенная, страшноватая, древняя Тривия-губки-бантиком.

Кстати, все слепленные и вырезанные по образу и подобию дамочек куколки, особенно снабженные механизмами автоматоны, были страшноватые, как гальванизированные мертвецы. Э.-Т.-А. Гофман, посетив один из современных ему «домов механики» — Данцигский арсенал, собрание диковинок автоматов, утерянное во время наполеоновских войн, — пришел в ужас: собрание показалось ему «некромантическим кошмаром».

Заводные автоматы семнадцатого и восемнадцатого века старательно подделывались под живое (совершенно натуралистические имитации, раскрашенные, облаченные в настоящие костюмы, в париках из натуральных волос, кивающие головами, моргающие, дышащие) и именно поэтому напоминали магически оживленных некромантами мертвяков. Обыкновенные куклы, серийные, не блещущие красотой, нам, кстати, мертвецов, вурдалаков и вампиров не напоминают. Еще веселее и легче играть с крестьянской тряпичной куколкой, маменькиным благословением: одежда из старой одежды, лица вовсе нет, чем и хороша, — годится в игру, дает волю и свободу воображению.

Совершенно естественно, что в семнадцатом и восемнадцатом веках в Европе возникла устойчивая мода на заводные игрушки. То была эпоха Просвещения, «время машины мира», период взгляда на мир как на огромный (по Лейбницу, бесконечный) механизм. На мой взгляд, именно Французская революция, плясавшая вокруг гильотин и певшая «Вешай аристократов на фонарях!», была первым шагом к замене уникальных дорогих механизмов для богатых и избранных серийными и тиражными зайчиками да курочками, которых вы наблюдали все детство и которые скакали и клевали перед вами четверть часа назад.

Тут Филиалов посмотрел на меня, глаза его сверкнули в свете включенной им лекторской лампы (он как раз собирался обратиться к диапроектору), как некогда сверкали в свете маленького софита глазки куколок вертепа старого кукольного театра, приводившего меня в детстве в священный восторг.

И совершенно неожиданно я молниеносно заснул. Неожиданно и незаметно. Словно бы находился я на том же месте, в том же ряду того же зала, но неуловимо оплыло, поменялось околдованное сном пространство: пажи унесли часы с кукушкой, вместо них принесли прямоугольный ящичек — подставку для кашпо, Филиалов нажал на секретную кнопку, двери ящичка распахнулись, и виден стал маленький кукольный театр, где две небольшие куколочки-автоматоны пили чай и вели диалог на языке механоидов сновидения ненастоящими голосками:

— Ванко топанго бюджета джета?

— Бюджета лапо топинари.

Я не смог ни досмотреть, ни дослушать: Нина схватила меня за руку, я проснулся рывком.

Никакого ящичка на столе не было — прежние молчащие часы. Свет горел только на сцене. Звучала музыка восемнадцатого века, то ли Рамо, то ли Глюк, может, и Моцарт. С экрана диапроектора на меня смотрела кукла. Она повернула голову, я видел ее глаза без ресниц — а ведь она и глаза умудрялась повернуть, настоящий

взгляд! Губы ее прорисованы были алым, она была бледна, серьезна, смотрела в упор. Нина (а мы сидели рядом с боковой дверью) вскочила, бросилась прочь, на улицу, я — за ней. На улице была ночь, полная звезд. Нина расплакалась, я стал ее успокаивать, она рыдала: что с тобой, что? Мы шли прочь, к ее дому, краснокирпичная гимназия с замершим под взглядом куклы залом осталась позади, некоторое время я еще слышал музыку.

— Мне... жалко... жалко королеву... зачем ей отрубили голову?..

— Какую королеву?

— Марию... Антуанетту...

Она всхлипывала все реже и реже, я утирал ей слезы, поцеловал в висок, в соленую щеку, накинул ей на плечи пиджак.

— Нина, прости, я не понимаю, про что ты. Я уснул, как дурак, минут на десять. Видел во сне тот же зал. При чем тут Мария Антуанетта?

«Мария Антуанетта», та самая кукла-автомат, которая смотрела, повернувшись, на нас с экрана, вначале звалась иначе — «Играющая на цимбалах» или «Цимбалистка». Сделали ее два известнейших мастера: мебельщик из великой династии мебельных мастеров, по фамилии Рентген (и Нина, и я видели рентгеновские бюро да секретеры в Эрмитаже), и часовщик, чье имя Нина забыла. «Цимбалистка» ударяла молоточками по струнам цимбала, играла несколько мелодий Глюка. Автомат-андроид поворачивал голову и глаза, дышал. Одетая музыкантша была в точную копию любимого платья французской королевы, причесана, как она, и походила на нее.

Мария Антуанетта, совершенно очарованная автоматом, купила эту чудесную игрушку, тогда-то кукла и стала тезкой королевы. Потом грянула Французская революция, чьи механики изобрели автомат по своему вкусу — гильотину; королеве отрубили голову; мастера, создавшие «Цимбалистку», бежали из страны.

По счастью, куклу не сломали, она сохранилась в бурях времен, повернула к нам бледное личико свое с губами, обведенными яркой помадой (как любила Мария Антуанетта), смотрела пристально, печально, спокойно, мы встретились с ней в стоящем на костях узников, в нашей раскинувшейся от Чопа до Кушки Бастилии, в вечернем Свяжске.

— Завтра последние экскурсии, — сказала Нина, совершенно уже успокоившаяся, стоя у калитки, — и все разъедутся. Мы вместе поедем?

— Конечно. Нам пора в город. Мне пора за тобой ухаживать и водить тебя под ручку по ленинградским ведутам Петербурга.

Я возвращался, редящая толпа, расходившаяся в разные стороны после филиаловского доклада, окружила меня. Не все разбрелись, иным было со мной по пути, переговаривались, я шел в жужжащем облаке реплик; потому что я был один и не разговаривал ни с кем, я слышал всех.

Вот наши семинары и закончились; какая хорошая погода стояла, нас ведь мог и дождь поливать; вы завтра едете на экскурсию? на которую? экскурсий несколько, катера придут с утра, кто в Казань, кто в Углич, кто в город Мышкин. Жаль, что не удалось услышать всех, да это и невозможно было, случались чудесные одновременные доклады, не раздвоиться; хотелось бы ваш ленинградский адрес записать, я вам дам визитку, я вам напишу, а я отвечу.

Энверов уговаривал Тамилу прямо из Казани лететь с ним на юг: летим, летим, давай недели на две. А как же работа? Работа не волк, в лес не убежит, ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем. Нет, говорила Тамила, мне ведь надо материалы семинарские готовить для печати, потом перебрать адреса для рассылки и разослать, я обещала Титову. Хочешь, я тебя на две недели отпрошу у твоего Титова? Навру что-нибудь, врать я мастер. Нет, не получится, кроме меня, некому этим

заниматься. Неужели какие-то бумажки, искренне не понимая, вопрошал он, важней нашей с тобой новой жизни? Ну, не две недели, хоть десять дней; выберем, где нам лучше: в Хосту, в Анапу, ты станешь на солнышке шоколадная, я знаю, где самые лучшие гостиницы для высокопоставленных персон, номер с балконом, вид на море, теплый пляж, пустой ночной пляж для нас двоих, виноградные вина, розарии, если ты любишь цветы; да что ты упираешься? я не понимаю. Он начал раздражаться. Что ты все нет да нет, у нас еще день, думай, я тебя уговорю. И вообще, я тебе письмо напишу, завтра отдам. Они свернули вниз, на берег, к своей исконной косе Тартари, стоящей на костях убиенных.

— После сегодняшней «Популярной механики», — говорил спутникам своим Времеонов, — я как-то по-новому воспринимаю выражение «Deus ex machina».

— А я, — произнес я в воздух, ни к кому, собственно, не обращаясь, — теперь иначе ощущаю слово «машинально».

Времеонов обернулся, улыбаясь:

— О, Федор Дорофеев! Тодор Божидаров! Рад видеть вас.

### **Бедный Жорик**

Нина убыла в город Мышкин, я остался в надежде написать несколько этюдов. Свяжск был так хорош, куда ни глянь — все годилось для живописца, а я не был уверен в том, что судьба еще когда-нибудь занесет меня сюда.

Я сидел на возвышении, в стороне, мне было видно все с невольно зрительской точки зрения.

Катерок в Казань наконец-то подошел, экскурсанты начали спускаться с возвышенной части берега на низкую — пляж, где малая пристань со сходнями пересаживала всех в скромные плавсредства. Энверов оглядывался: Тамила опаздывала, он не видел ее. Зато видел ее я, она уже подходила к линии высокого бережка, когда ее задержали два подбежавших пажа: один вручил ей письмо, белый длинный конверт, другой — две канцелярские папки. Помедлив, Тамила решила взять папки с собой, оставить их на острове она уже не успевала.

Компания экскурсантов гуськом шла по тропке к сходням катерка, Энверов шел первым. Тут из-под лопаты одного из копателей, рабочих (должно быть, наемных, приезжих), трудившихся над наделом будущего цивилизованного спуска к пристани (во второй мой приезд тут уже красовались деревянные пологие лесенки, пересекавшие аккуратно выровненные, параллельные воде эспланадки), выскочил череп и скатился на тротуар (череп тут попадались повсюду, только начни копать). Энверов, вместо того чтобы поднять его, произнес классическое шекспировское «Бедный Йорик!», поддал череп ногой со словами «Бедный Жорик!», и с кратким хохотком Гамлет-хам наш комсомольский отпасовал его обратно, наверх. Отфутболенный череп залег в траве. Один из копателей спустился за ним и отнес его в сторонку, чтобы присоединить к уже откопанным прежде собратьям. К удивлению моему, увидел я со своего места наблюдателя лежащие вдоль примыкающей к высокому берегу линии, отсортированные по-вурдалакски горки костей: черепа с черепами, ребра с ребрами, берцовые с берцовыми и так далее.

Кто-то из идущих за Энверовым хохотнул, большинство ничего не заметило, приняв отфутболенное за детский старый мяч. Тамила побледнела, побелела, развернулась, пошла по тропе наверх, прочь. Когда вся группа достигла сходен, ее и след простыл. Энверов с несколько растерянным видом, в полном недоумении головой вертел: куда делась? Однако быстро загрузились на катерок, умчались,

он и с катерка все оборачивался, но бережок был высок, Тамила давно вышла за пределы видимости.

Уйдя с написанным этюдом с берега, я застал ее сидящей на лавочке возле прибрежной сараюшки, она курила, я никогда не встречал Тамилу с сигаретою, глаза ее были заплаканы, я спросил: в чем дело, не нужна ли помощь моя? Она только головой помотала. Я оставил ее на лавочке в облачке сигаретного дымка. От Тамилы не должно было пахнуть табаком — только ее любимыми духами, «Ландыш серебристый», шлейфным ароматом тех лет; болгарским розовым маслом, сменившим духи «Манон». Некоторые доставали где-то французские флаконы — экзотический, дорогой подарок.

Вечером уже темнело, когда забегал по Свяжску вернувшийся с экскурсии Энверов, искавший Тамилу.

— Она уехала, — сказал ему один из пажей.

— Как уехала? Куда?

— В Ленинград уехала, с группой из ВНИИТЭ.

— Этого не может быть, — сказал Энверов. — Ты врешь.

Паж (а то был цирковой паж) хотел было на голову встать, да раздумал, только плечами пожал.

— Мне ничего не передавала?

— Нет.

— Не может быть.

Но паж уже ускакал.

### «Норд»

— Расскажи мне.

— Про что?

— Про «Норд».

— А ты потом расскажешь мне про лося.

— Хорошо.

Мы рассказывали друг другу истории из нашей жизни, чаще всего — из детства. В течение года одна и та же история рассказывалась не единожды. Это была наша игра на двоих, любимая игра.

Мы поженились зимой, через несколько месяцев после приезда из Свяжска. Нина переехала к нам с мамой: мы жили в коммунальной квартире в центре города. В Нинину комнатку переехал наш сосед, и в коммуналке остались только наша семья и симпатичная старушка соседка. Мы в четыре руки сделали ремонт: покрасили стены по обоям водоэмульсионной краскою, добавив в белила немного охры, вышел бело-золотой. Зимой Нина вешала холщовые шторы, летом кисейные или две полосы марлевки. Живопись моя украшала нашу комнату, в иные полнолуния в зеркало старинного платяного шкафчика, стоявшего у двери, вливалась луна.

Нина сшила на наш раскладывающийся диван покрывало из разноцветных квадратов: однотонные алый, вишневый, ультрамариновый из новой ткани, остальные из отстиранных и отглаженных лоскутов старых сарафанчиков и занавесок. Синий, алый и зеленый стекла прабабушкиной лампы времен модерна перекликались с цветами покрывала, аукались с живописью моей. Мы жили тихо, счастливо, у нас были свои праздникам подобные походы: на стадион для меня, в театр для Нины, на выставки или в филармонию для нас двоих.

Судьба прервала эту идиллию неожиданно и жестоко. Нина была на четвертом месяце беременности, когда попала она в страшное ДТП, потеряла ребенка, долгое время балансировала между жизнью и смертью. Уверившись наконец в том, что она останется со мной, врачи не были уверены, что она меня узнает, заговорит, сможет ходить. Но потихоньку, постепенно (реанимация, реабилитация, палата за палатой, потом лечебная физкультура, санатории, дома отдыха) она стала возвращаться, не совсем такой, как прежде (а внешне — совсем такую — почти). Она настаивала на том, чтобы работать, переучилась, работала на полставки. У нее была одна странность, природная ли, из детдомовского ли детства: она была очень старательна, ей хотелось сделать все быстро, идеально почти; ее очень угнетало, что теперь уборка и стирка даются ей с трудом, занимают больше времени и так далее. Она чувствовала себя виноватой, что стала мне не такой женой, как мечталось, не вполне полноценной. В первый день выхода из больницы она принялась мыть пол и потеряла сознание. Оказалось, что у нее сломаны несколько ребер, и когда она наклонилась резко, осколки ребер вошли в плевру; по сравнению со всем остальным такая мелочь, как ребра, была не в счет, не ими занимались доктора. Но она опять попала в больницу, к счастью, ненадолго.

— Будешь полы мыть — задушу, — сказал я ей.

Она улыбнулась узнаваемой милой улыбкой, ставшей чуть-чуть асимметричной, чего никто, кроме меня, не замечал.

Дважды за несколько лет съездили мы с ней на юг, весной и осенью, чтобы не было слишком жарко.

Мы сидели, как прежде, на диване с чуть выцветшей накидкой из разноцветных квадратов, Нина была на пятом месяце, просила рассказать про «Норд». Матушка моя, переехавшая полгода назад к двоюродной сестре в Валдай, — пожить, дать нам побыть вдвоем, звонила накануне, обещала приехать назавтра. Она получила мое письмо о том, что Нина ждет ребенка, спешила, волновалась, хотела помочь.

— Когда я был маленький, — начал я выученный до малейшей интонации рассказ, — мы с мамой раз в три месяца ходили на Невский в кафе «Норд». В начале пятидесятых, в связи с «борьбой с космополитизмом», название ославянилось, превратилось в «Север». Однако горожане по-прежнему называли заветное заведение, славившееся своими пирожными, «Нордом».

К посещению «Норда» мы готовились, как к походу в театр: матушка надевала нарядное театральное выходное платье, коралловое ожерелье, я — праздничную вельветовую курточку. Отец никогда с нами не ходил.

Кафе находилось в цокольном этаже, в глубине, за магазином; в маленьком гардеробе снимали мы пальто или плащи — и оказывались в маленьком волшебном зале с искусственными окнами, застекленными, однако; стекло покрыто было с изнанки серо-голубой краской. По периметру шли отдельные подковообразные кабинки: диванчики темного дерева с бархатными спинками и сиденьями цвета голубино-го крыла, маленький столик. Спинки были до плеч, соседей мы видели, но вместе с тем сидели отдельно. Интерьер зала украшали большие фарфоровые белые медведи. Куда они потом делись, когда закрылось кафе? Переехали на дачи и в дома начальников городских? В пресловутые охотничьи домики Карельского перешейка, Псковской, Новгородской, Тверской областей, где охотились партийные и комсомольские боссы?

Мы заказывали по пирожному (мне эклер, маме картошку), мне чай с лимоном, мама пила кофе глясе, в котором плавал шарик мороженого. Все, вместе взятое, напоминало какую-то другую жизнь, английскую или дореволюционную. В «Норде» было тихо, уютно; в глубине зала находилась маленькая эстрада с пианино, где



могли бы поместиться трио музыкантов с певицею, возможно, вечерами звучала и музыка, но я не уверен: наши посещения были всегда дневными.

Нине особенно нравились белые медведи из моего рассказа, большие, полуметровые, толстолапые, с чуть поблескивающей фарфоровой шерстью. На следующий день, поскольку был я в Публичке (сидел в журнальном зале, надо было собрать кое-какой материал для следующего проекта), решил я зайти в магазин «Север», чтобы повеселить Нину парой пирожных из моего рассказа. Кафе, куда ходили мы с мамой, давно в низочке не было, зато на втором этаже работало большое новое заведение, днем обслуживавшее посетителей по расценкам столовой, вечером превращавшееся в ресторан. Я решил там пообедать; однажды в Москве, не найдя по пути из одной проектной конторы в другую ни пельменной, ни пирожковой, так отобедал я в знаменитом «Славянском базаре», где дневные цены были много меньше вечерних. Заказав чашку бульона с профитролями, котлеты с пюре и чашку кофе, стал я разглядывать помещение, показавшееся мне, должно быть, по контрасту с детскими воспоминаниями о «Норде», несоразмерно высоким. Окна тоже — очень большими. Народу было немного. Женщина, только что вошедшая в «Север» и направлявшаяся по проходу к столику у окна, показалась мне знакомой: танцующая походка, бархатный пиджак, она прижимала локтем к боку маленькую черную сумочку; я взгляделся — и узнал Тамилу. Человек за столиком, к которому она подсе-ла, повернул голову, я увидел его в профиль; это был Энверов. Он не встал навстречу даме, не усадил ее за стол, что показалось мне не просто неучтивым — странным. Официанты ходили взад-вперед, две дамы за соседним столиком стрекотали почем зря, группа обедающих командировочных провинциального вида хохотала и звякала вилками. Из разговора Тамилы и Энверова до меня долетали обрывки, отдельные фразы, слова. Он, как мне показалось, вовсе не изменился за те десять лет, если не больше, которые прошли с лета сваяжских семинаров. Тамила, конечно, то ли повзрослела, то ли постарела (последнее слово не подходило: тогда, давно, она была очаровательной девушкой, теперь стала красивой дамой). Разговор у них был неприятный. Она слушала его, опустив ресницы, вертя на столе свою рюмочку с коньяком, на щеках ее загорелись пятна румянца. Он что-то требовал от нее, речь шла о каком-то письме, он настаивал, она отнекивалась. Мне показалось, он ей угрожал. Не допив, она встала и ушла. Он остался, официант уставил его стол судочками и тарелочками, бутербродами с икрой, салатами. Энверов принялся за обед с видом недовольным и раздраженным: холеный москвич, в шикарном костюме, богатый, нагловатый.

Я подивился, через столько лет увидев их вместе. Хотя роман их то ли заканчивался, то ли закончился, с любимыми, возлюбленными или любовницами так не говорят. Меня подмывало сказать ему какую-нибудь гадость, проходя мимо него к выходу, но не хотелось на него тратить драгоценные мгновения жизни. И я ушел. Он меня не заметил.

Когда к вечеру прибыл я домой с коробочкой с тремя пирожными (продавщица, привыкшая к тому, что покупатели уносят по три коробки, не без брезгливости завязала розовой бечевкой мне, нищоброду, три пирожных; а я знал, что Нине нельзя много сладкого), Нина обрадовалась, как я и думал, продолжению истории про «Норд». «Как хорошо, что их три, — сказала она, — мама Зоя завтра приедет, один эклер положим для нее в холодильник».

Но что-то в любимой жене моей было непривычное. Должно быть, она хотела о чем-то попросить или спросить и сочиняла, как лучше это сделать.

Когда я отужинал, она сказала:

— У меня к тебе просьба. Обещай, что не откажешь.

Это был запрещенный прием, но я вконец превратился в подкаблучника и пообещал.

— Не мог бы ты, — произнесла Нина, — поехать в командировку в Казань? Ты что-то говорил о заказчиках из Казани.

— Может, и мог бы, — отвечал я, подивившись, — надо спросить у начальника. А что я должен привезти тебе из Казани? Башкирский мед?

— Ты заедешь в Свияжск и привезешь мне письмо. Я забыла в доме моей хозяйки чужое письмо, данное мне на сохранение. Все случайно вышло, я не нарочно. Сегодня заходила Тамила, это ее письмо, ей Энверов написал, а теперь она должна ему это послание вернуть. Я не поняла, да и не расспрашивала, но Тамила плакала и сказала: очень важно, вопрос жизни.

Откуда Тамила узнала, где мы живем? Она никогда у нас не была. Впрочем, и в Институте технической эстетики, и в Мухинском нашлись бы мои друзья или знакомые, знавшие мой адрес.

— Вопрос жизни? — переспросил я.

— Для чего нам знать, что там у них происходит? Может, поссорились, может, помирились, может, хотят пожениться или расстаться. Пожалуйста, съезди, постарайся! Я это письмо у хозяйки в комнате сунула за икону.

— Думаешь, там и лежит?

— Конечно. Ты обещал.

Да, я обещал.

— Ладно, — сказал я, — я только боюсь тебя одну оставлять.

— Как же одну? — обрадовалась Нина. — Завтра мама Зоя приезжает.

Засыпая, я сообразил: должно быть, у Тамилы с Энверовым крупный разговор был в кафе именно из-за этого письма. Какая чушь. Капризы моей бабушки. Нина спала сном младенца, слегка улыбаясь. Да поеду, поеду, ведь обещал; с тем я и уснул.

## Снега

Начальство нашего номерного концерна ко мне благоволило. Хотелось быть людьми передовыми, щеголять дизайном приборов, рабочих мест, изделий. Заказчики моей работой всегда были довольны; инженерам, конструкторам, руководителям нравились мои макеты в натуральную величину, нравилось, когда в статьях о товарных знаках страны в одном из известнейших журналов товарные знаки и бренды, эмблемы, спроектированные мной, назывались в десятке лучших, приводились в пример. У нас действительно ожидалось совместные разработки с аналогичным предприятием в Казани, несколько человек из самых начальственных собирались туда днями; захватили и меня с фор-эскизами и вопросами по уточнению задания на дизайнерскую разработку. В пути я спросил — не могу ли я на день, на сутки, на два дня, как угодно, заглянуть в Свияжск, находящийся в тридцати километрах от Казани. Быстро справишься со своей документацией, поедешь, еще и отвезут, — было мне ответом. Путь тоже был не вполне обычный: я наконец понял, как сильно отличается в бесклассовом обществе нашем жизнь начальства от жизни подчиненных. А на охоту не хочешь? — спросили меня, а на зимнюю рыбалку? а на лыжах покататься на настоящих? Нет, отвечал я, мне бы в Свияжск. До Казани добрались мы не за сутки, а за три часа особым авиарейсом, в аэропорту встречали нас на машинах, все свои вопросы и проблемы решил я с конструкторами и инженерами до обеда, потом меня на уникальном вездеходе-амфибии (я и представить себе не мог, что в стране нашей где-то катаются на подобном транспортном средстве — только что не летало) домчали до места назначения, объяснив, кому должен я звонить,

добравшись через сутки на электричке до Казанского вокзала, чтобы меня конвертировали в Ленинград примерно так же, как из Ленинграда.

Сумерки только начали окрашивать снега в голубое, когда прошел я по зимнему острову к дому Нининой хозяйки, издалека увидев отороченные белые ветви двух деревьев — сосны и тополя, возле которых мы в первый раз обнялись с Ниной и поцеловались.

В любимом моем Ленинграде, где погода капризничала, чудила, играла в ветры с Атлантики, мечтала о Гольфстриме, я чуть было не забыл то, что понял еще в детстве в зимние месяцы в тетушкиной валдайской избе: главное в нашей стране — небо и снега.

Древние модницы наши любили свой, речной и привозной жемчуг скатный за его льдистую снежность; окултуренные дворяне семнадцатого и восемнадцатого столетий любили статуи беломраморные за их сходство со снеговиками, как бояре — белокаменные палаты за молочную, снежную белизну.

И не таял ли камень придорожный, бел-горюч, потому что был льдом?

Один из любимых писателей моих сказал: всю ночь падал снег, он принес с неба тишину. Другой писатель и писать-то начал потому, что все начало книги его представлялось его внутреннему зору фигурками на снегу.

Зимний Свяжск развернул передо мной свое убеленное околдованное царство.

Нина снарядила меня в поездку с гостинцами для хозяйки: в нашей проектно-заводской лавре велено было мне зайти в стол заказов, который посещал я реже всех сотрудников, где приобрел я кило гречи, две банки тушенки, две банки сгущенки, банку сгущенного кофе, шоколадный торт и индийский чай «со слонем». От себя Нина положила клеенку с ретроавтомобильчиками (где только отрыла?) и десять свечек; а свечки-то зачем, спросил я; там свет часто гаснет, отвечала жена моя.

Хозяйка очень обрадовалась мне, пришла в восторг от подарков, расплакалась, узнав о наших злоключениях, перекрестилась, услышав, что Нина ждет ребенка, протопила на ночь вторую печь, достала из-за иконы пропылившееся письмо; мы угомонились за полночь; свет и впрямь не горел — горела керосиновая лампа.

Лежанка и сенник были теплы, за сплошь разрисованными морозом окнами брезжила луна, тишина снегов обводила дом.

— Федор, милый, не сходишь ли ты на лыжах на тот берег, — спросила меня утром хозяйка. — Я тебе покажу, в какую избу. Там моей подружке для меня лекарств привезли. Ты на сколько приехал? Так меня выручишь.

— К вечеру съеду, — отвечал я. — Схожу, конечно. А лыжи-то есть?

— Ох, жаль, думала, поживешь, погостишь. Лыжи сейчас от соседа принесу.

Снегом покрыты были льды давно вставшей реки; из прибрежной проруби набирали воду; следы, лыжня, да и не одна; у берега из снега торчали метелки водных трав. Светило слепящее солнце, мороз был изрядный, но сухой волжский мороз в двадцать градусов с гаком был много легче нашего, сырого, двенадцатиградусного петербургского, с шалым ветерком.

«Что же нам делать, — думал я, — если мысль наша чувственна, а прикосновение снега духовно?»

Благодатное покрывало, точно рождественский камуфляж, скрывало все изъяны опечаленной десятилетиями революционных пробелов в настроенной некогда жизни: разрухи, войны, бедности. Всем сараюшкам, всем посеребренным беспощадным воздухом объявленной незнамо зачем новой эры домишкам выданы были праздничные белые уборы, графические сияющие линии обводили купола, выступы, аркатурные пояски, арки, колокольни, порталы уцелевших церквей. Ни мусора, ни

дикой травы пустырей, ни луж миргородских в переулках и на улицах: снега, праздничные белые одежды. Я даже подумал: должно быть, и несчастные скелеты косы Тартари и потаенных братских могил находят сезонное упокоение под снегом, павшим с небес, подобно молитве.

Подружка хозяйки, в отличие от нее полная и веселая, поила меня чаем с вареньем (от обеда я отказался), чуть не забыл отдать ей посланную в подарок банку гущенного кофе и коробку изюма в шоколаде из Нининого пакета, взял лекарство, узелок с сушеной травой, связку грибов, двинулся обратно.

Левее моей лыжни кто-то слепил целую ватагу снеговиков, были среди них и нагие красотики вроде каменных баб; я сделал крюк, отправился их смотреть: должно быть, где-то гостили художники или скульпторы, прибывшие на зимние квартиры на этюды.

Белая орава осталась позади, справа стеной стояли в снегу сухие стебли камыша, метелки осоки. Я глянул на остров и обмер, поняв, что нахожусь в точке, с которой Левитан писал свое «Озеро». И было видно мне отсюда, где находится место на берегу, куда падала тень облака на его картине.

Конечно, вместо того чтобы вернуться в дом с двумя деревьями, я рванул туда, не веря глазам своим.

Заповедное белое безмолвие, окружая меня, смотрело на меня со всех сторон; белое на белом разворачивало, по мере продвижения моего, веерные близнечные пространства, помечая снега то крохотной веткой, неизвестно откуда взявшейся, то рисунком-следом протекторов «макаки» — превращенного в вездеход старенького мотоцикла.

На реках — и Шуче, и Свияге, и Волге — кто-то заботливо метил проруби воткнутой в снег вешкою с навязанной на нее узкой алой ленточкой, клочком алой тряпки; уж не красной ли свитки, подумал я, отдыхая возле заснеженного берега, запечатленного тенью облака рукой Левитана, воображаемой виртуальной тенью третьего мира: искусства. Уж не из ключев ли гоголевской красной свитки собраны были все красные флаги страны? Что только в голову от усталости не приходит, думал я, как это я так растренировался: совершенно забыл, начисто, о дальних расстояниях и лыжных прогулках детства и юности.

Ничего заповедного в этой части бережка я не замечал, возможно, тишина была еще плотнее, хотя... И тут в склоне берега, в косой стенке между приподнятым плато острова и полосой прибрежного пляжного песка, в сугробе, распахнулась дверь. В занесенном снегом склоне была занесенная снегом дверь, она открылась вместе с налипшим на нее прямоугольником белым, откинулась на петлях, обнаружилось темное пятно лаза, вышел из подземного хода монах в черной рясе (или то был подрясник? я не знал названия одежд церковных людей) и ватнике с брякающим, звонким новеньким серебристым ведром в руках. Он оставил в темном провале зажженный фонарь, похожий на шахтерскую лампу, и направился к проруби. Мы поздоровались, по неписаному деревенскому правилу здороваться со встречными: знакомый ли, незнакомый, сосед или прохожий, все едино — здравствуйте.

Неизвестно откуда взявшийся праздный лыжник в городской одежде и монах, в те времена оку советских людей непривычный и дикий.

Он набрал воды и пошел к своему лазу. Должно быть, мое ошалевшее лицо остановило его.

— Вы приезжий? — спросил он, улыбнувшись. — Художник? Из Казани?

— Художник, — ответил я для краткости, слово «дизайнер» на фоне снегов прозвучало бы странно. — Из Ленинграда. А вы... Вы из прошлого?

— Нет, — отвечал он серьезно. — Я из будущего.

И пояснил:

— Тут будут восстанавливаться храмы, а может, и монастыри. Вот мы потихоньку разбираем старые завалы и приступили.

Восстанавливаться монастыри? Я не стал вникать в это неправдоподобное сообщение.

— И ходите за водой по подземному ходу?

— Да, — отвечал он, — тут старинный подземный ход, монахи да войсковые люди еще при Иване Грозном, при закладке крепости, его соорудили, чтобы на случай осады незаметно за водой ходить или нападения отражать. Извините, меня ждут, я пойду.

Может быть, он ждал, что я попрошу, чтобы он благословил меня, но тогда я ни о чем таком не думал и не помышлял вовсе.

— Всячески желаю вам удачи, — сказал я, — в благом вашем деле. А также победы реставрации над разрухой.

Дверь за ним закрылась — легкий ветерок, осыпь, облачко снежное затерло швы. Стало еще тише. Я пошел по кругу к дому с двумя деревьями, хорошо помнил: тут, куда ни пойдешь, придешь к Нининому дому.

На станцию под названием Нижние Вязовые повез меня на «макаке», оснащенной шинами с массивными протекторами от грузовика, один из соседей. Мы примчали на этом варварском транспорте, изобретении неунывающих россиян, за четверть часа до электрички. Банка с солеными огурцами не разбилась от тряски в портфеле моем, моченые яблоки не выплеснули маринад свой на мои бумаги: на остренькое женщины в тягости падки, сказала хозяйка, береги Ниночку, поцелуй ее от меня.

Возвращающимся в Ленинград из Казани начальством был я подхвачен как бандероль, самолет наш благополучно приземлился, в ленинградском аэропорту нас снова встретили на машинах, меня довезли до дома, я разбудил и Нину, и матушку.

— Как ты быстро обернулся, — сказала Нина, — письмо нашел?

— Забирай, пока в портфеле не замотаю со своими бумажками.

— Я положу конверт в старое бюро, в верхний левый ящик, — сказала Нина.

— Мне-то зачем знать, куда ты его положишь? Придет Тамила, сама и отдашь.

— Ты только не волнуйся, — сказала Нина. — В понедельник меня кладут в больницу. Нет, ничего страшного, это называется токсикоз второй половины беременности, он у меня не сильный, врачи перестраховываются, я ненадолго.

Но ее так и не выписали, она пробыла в больнице почти четыре месяца, я бегал к ней с передачами, вечерами за чаем мама успокаивала меня, а я ее.

В конце весны у нас родился сын. Не знаю почему, но не только в нашем семействе, не вполне после Нининого автомобильного ДТП нормальном, но и в семьях друзей и знакомых рождение ребенка оказывалось чем-то вроде семейной коллективной болезни. Может, на наших широтах это не всегда было так? — думал я, гуляя с темно-синей колясочкой по хрестоматийным ведутам, хоть малость обшарпанным и заброшенным, но все же прекрасным.

Назвали мальчика Сережей. Нина была совершенно счастлива, похорошела, помолодела, вот только уставала быстро, и мама, и я помогли ей, как могли; бабушка обожала внука, я вообще молчу — из меня вышел совершенно сумасшедший отец.

Так доскакали мы до первого Сережиного дня рождения.

А за письмом Тамила так и не пришла. Да мы и сами об этом письме забыли, жизнь летела на крыльях, мы вместе с нею.

## Юкими

Когда лежала Нина в дородовом отделении, принес я ей туда открытую по случаю в «Старой книге» совершенно новенькую книгу о Японии.

Атеистические советские люди, склонные к духовной жизни (к «духовке», как тогда говорили), обзаводились увлечениями, кумирами, фетишами иногда пререстранного свойства. Были негласные клубы искателей НЛО (в девяностые годы ставшие на некоторое время гласными), компаниями играли в индейцев или древних славян, разумеется, умозрительных, ненастоящих, киношных (причем игроки были формально, по паспорту, взрослые, зрелые люди). Были фанаты «Мастера и Маргариты», адепты фантастики; увлекались другими странами (где не были никогда), розенкрейцерами, алхимией, выращиванием орхидей, выпиливанием лобзиком; изучали индийский язык (или санскрит?); коллекционировали совершенно немислимые вещи, например неправильные спички (слишком тонкие, слишком толстые, кривые, цветные, с излишне толстой головкой серы или вовсе без оной). Позже из этих волн «духовных увлечений» в качестве «новой волны» возникли общества последователей Рериха и знатоков Толкиена, так называемых «рерихнутых» и «толкиенутых».

Мы с Ниной отдали дань этому неопределимому явлению, поувлекавшись книгой о Японии.

В ней были чудесные цветные вкладки, листы восемнадцатого века — Хокусаи, Хиросигэ. Была одна копия руки Ван Гога, влюбленного в работы японских мастеров и копировавшего их. Приводились отрывки из «Маньёсю» («Собрание мириад листьев») и «Ямато-моногатари». Рядом с русским переводом танки написаны были кириллицей японские строки:

Омофру раму  
Кокоро-но ути ва  
Сиранэдомо  
Наку-во миру косо  
Вабисикарикэри.

Мы гадали, как расставить ударения. В некоторых японских словах было два ударения, а Нина предполагала, что в иных даже три. Предположения наши были совершенно досужие. Японские поэты любили символы, игру слов, иероглифических картин-ребусов. Мы любили японских поэтов. «Долгие ночи провожу я, встречая рассвет, сгорая от любви к тебе, и, превратившись в дым, неужто я застыну в небе? Конечно, я улечу ввысь».

Мы знали наизусть слова, обозначающие главные принципы эстетики дзен: ваби (красота бедности, суровая простота, шероховатость и одновременно изысканность); саби (прелесть старины, печать времени); югэн (невыразимая словами истина, намек, подтекст, недоговоренность). С дзен связана была и традиция любования: момидзигари (осенними листьями клена); ханами (цветами); цукими (луной) и юкими (тихими снегами).

Ребенок родился, похожий на маску театра Но — с узкими глазками и точеным плотным носиком. Нина боялась, все ли у него в порядке, считала пальчики на ножках и ручках. Мальчик плакал мало, вот только говорить начал очень поздно. Он хорошо нас слышал, поворачивал головку, когда мы его звали, оглядывался на мяукающего кота. А сам молчал.

Утром, перед работой, с ним гуляла работающая на полставки мама, вечером я: Нине было тяжело тащить коляску и младенца, отнюдь не худенького, с шестого этажа — лифта в доме не было.

Днем Нина одевала его, одевалась сама, открывала балконную дверь — так гуляли они, стоя: она в шубке, он на ручках. «Смотри, какой чудесный снег, — говорила Нина младенцу, — это наше юкими, давай любоваться тихими нашими белыми снегами».

В тот день я пришел с работы чуть раньше, услышал за дверью непривычный рев полуторогодовалого Сереженьки. Нина носила его по комнате, он вырывался, тряс руками, подпрыгивал, орал.

— Чего он хочет? — спросил я, стоя в дверях.

Тут ребенок наш выкинул в сторону окна ручонку повелительным жестом Медного всадника и вымолвил:

— Юкими!

Обомлевшая Нина поднесла его к окошку, он тотчас успокоился и устался на заснеженный дворик.

— А я-то думала, — сказала просиявшая матушка, — что первое слово его будет «мама»...

Тут младенец, слегка откинувшись, глянул на нее, обратил на нее благосклонное внимание, схватил ее за щеку и произнес:

— Мама.

— Вот, дождались! — вскричал я от двери. — Может, ты, красавчик, и отца наконец признаешь?

Ребенок повернулся ко мне, махнул в мою сторону императорским жестом ручонкой и сказал:

— Пама!

С этого дня он начал говорить, как все дети, развлекался и звукоподражаниями: мяукал коту, лаял уличным собакам, каркал, чирикал, бибикал.

## Капля

Дочь родилась у нас, когда Сереже было четыре года. Нине второй ребенок дался тяжело. Она окончательно ушла с работы, какие там полставки, четверть ставки. Ей пришлось лечиться после родов: были трудности и с позвоночником, и с давлением, мучила ее мигрень, ухудшилось зрение, она мало-мальски выпрашивалась лет через пять. Я брал халтуры на дом, подрабатывал, где мог. В частности, подрядился в одной архитектурной проектной конторе выполнить пятиметровой длины панораму Владивостока, всем всегда нравились мои перспективы, освоил я и архитектурную, с превеликим удовольствием изобразив небо с кучевыми облаками, которыми славятся города и села, стоящие у воды. Еще научился я готовить и немалые способности по кулинарной части в себе открыл.

Время было трудное: отхлестали черномыльские дожди (в лето 1986 года мы снимали комнатенку с верандой в Дибунах: бабочек не было вовсе, лопухи выросли колоссального размера, и всюду видели мы колонии каких-то немислимых, инопланетных грибов — лиловые поганки, лимонно-желтые, страшное дело); промчалась неразбериха перестройки, уплыли по реке времени пустые магазины начала девяностых, пронеслась по городу (да и всем городам) волна уличных убийств с грошовыми, стоимыми жизни грабежами.

Однако дети наши выросли, отучились — при полной неразберихе со школами (где восьмилетка, где одиннадцатилетка), открывающимися и закрывающимися гимназиями. Учились и Сережа, и Леночка прекрасно, он окончил университет, она — Политехнический. Когда появились внук (Леночкин сын) и внучка (дочкина), дети уже разъехались. Леночка с мужем жили в Пушкине, работали в Пулковской обсерватории, а Сергей с женой сначала наезжали, подрядившись, в заграничные командировки, а потом и вовсе переехали: шло к тому, чтобы так и остаться жить в Дании. Вот их дочку, внучку нашу Капитолину, получали мы время от времени, то на месяц, то на полгода, то на год, что для нас было несомненно счастливым обстоятельством. Какие бы сложности и неувязки нас ни подстерегали, один вид золотистой головенки с кудряшками, особенно против света, затмевал все — жизнь становилась прекрасной. Капитолину звали мы Каплей.

Капля, девочка востренькая, фантазерка, больших печалей нам не доставляла, хотя была с характером и раз в году болела какой-нибудь немислимой ангиной, корью или ветрянкой. Мне было страшно: а вдруг Нина заразится? Но обходилось. Читать Капля начала рано, на даче была в детской компании заводилой. Мы разделяли ее увлечения. Толклись вместе с ней в цокольном эрмитажном древнеегипетском зале с мумией. Я лепил и отливал из гипса маленькие фигурки ушебти, кошкоголовой богини Баст, песьеголового Анубиса. Мы их раскрашивали. Одну из фигурок мой знакомый стекольщик отлил из темно-голубого матового стекла. И я, и Нина изучали египетскую письменность, обменивались иератическими записками с Каплей. Я научил ее писать симпатическими чернилами, макать старинное перышко перьевой ручки в молоко или тыкать им в луковицу; надпись была невидима, но стоило бумагу нагреть — текст проступал на белом листе.

Потом пошел период романов. Капля строчила их почему зря. Об имени лорда я уже упоминал. Был там еще злодей, которого звали сэръ Сам Мерсет Мойэм.

— Мойэм и Стирайэм, — сказал я. — Два злодея-близнеца. Лучше если вообще двойняшки. Различить можно только по родинке на попе.

— Что ж ты надо мной смеешься? — Капля надулась и вышла на кухню.

Впрочем, была она отходчива, быстро вернулась.

— У тебя там только герои? — спросил я. — Героини тоже есть?

— Вот будешь читать, увидишь, — сказала она загадочно.

— А я буду читать?

— Конечно. Ты ведь будешь к моему роману иллюстрации рисовать. Ты обещал.

Когда я был занят, чертил или делал эскизы, а Капля приходила и что-то говорила, я не вслушивался, поддакивал, не вникая, наобещать мог что угодно.

— Героини там вот именно двойняшки, — сообщила наша Дюма-внучка. — Сью Причард и Причард Сью.

— Лучше Пью и Сью, — предложил я.

Пропустив Пью мимо ушей, она продолжала:

— Одна белокурая, другая чернокурая. Кудрявые обе. С локонами до плеч.

— В одном известном старинном романе, — сообщил я, — действовали две Изольды: одна белокурая, другая белокурая.

— О! Домодедов! — вскричала Капля. — Как мне нравится! А если я это спешу? Украду то есть?

— Это называется плагиат. Спиши, конечно. Писатели все друг у друга сдувают почему зря. Из глубины веков идет традиция.

В романе Капли отважно сражались два розенкрейцера — Розенблюм и Розенфельд.

— Откуда фамилии взяла? — осведомился я.

— В девятом «Б» есть девочка и мальчик с такими экзотическими фамилиями.



— Капля, а ты у нас не антисемитка?

— Вот еще, — отвечала наша внучка, — антисемиты во время войны дедушку и бабушку Эдьки Когана хотели убить, они фашисты, а я нормальная.

Еще один персонаж звался Брандмауэр. Дюма-внучка заканчивала повесть «Приключения принца-мореплавателя» с главами «Расхищение сокровищ» и «Приручение чудовищ».

Она мечтала написать повесть «Знаки Злодияка», где главным героем был бы злой волшебник Злодияк, чей особняк сторожил карликовый цепной дракон Фуфель.

— Там еще будет, — сообщила она, — писатель Фаустовский.

— Все решат, что он алхимик или химик.

— Может, он по образованию химик, — предположила Нина, — а по призванию писатель?

— А по роду занятий сторож, дворник или кочегар? — предположил я.

— Не умножайте сущности, — сказала внучка наша, уже прочитавшая про Бритву Оккама, — писатель, и все.

— Недавно мне приснился сон про новую книгу. В нем Землю заселяли колонисты разных цивилизаций из разных Галактик. Временами они по древней привычке предков опять начинали воевать друг с другом. Поэтому все войны человеческие — звездные войны.

— Мне больше нравятся книги о мирных временах.

— В книгах о войнах, — убежденно промолвила она, — больше приключений.

Подумав, она сказала, противореча сама себе:

— Может быть, люди воюют потому, что ищут приключений.

— Нет, — возразил я, — человек потому воюет, что у него в башке то корова пасется, то саблезубый динозавр вылетает всё и вся пожрать.

Она опять задумалась, потом, помолчав, произнесла:

— Я придумала новую специальность ученого: эхолог. Он изучает эхо, охотится за ним — у колодца, в пещере, в лесу, в городских подворотнях, дворах и дебрях. В конце концов он спасет мир, не пустив в него эхо зла.

Я не всегда понимал ход ее мыслей.

### Городок в городе

— Домодедов, а что такое популярная механика? — спросила Капля.

— Музыкальный ансамбль, — сказала Нина.

— Название лекции на одном из семинаров в Свяжске, где мы с бабушкой познакомились.

— А еще?

— Еще?

Она протянула мне клочок бумаги, филькину грамотку, выведенный детским почерком адрес и название: «Музей популярной механики, арт-механики, кинематонов, кинематической игрушки».

— Что это за улица? Где это?

— Недалеко от Московских ворот, кажется. Сейчас на карте посмотрю.

— Деда, мы поедем туда? Ты поедешь со мной?

Конечно, я с ней поехал.

— Какие странные фамилии на «ж», — сказала Капля, глядя в окно троллейбуса, неспешно следующего по Московскому проспекту, — Житков, Жур, Железняк, Жеймо, Жербин, Живанши.

— Еще Жухрай, — сказал я. — Странные фамилии есть на любую букву.

— Почему-то на Московском проспекте я всегда думаю о фамилиях.

— Может, тут в старину водили по этапу заключенных? — предположил я. — Из Литовского замка, например. Их выкликали по списку, они отзывались. И ты за чем-то из дали времен это слышишь.

Летом, в ненастные дни, мы играли в знаменитых людей. Иногда я играл всерьез, чаще честно Нине и Капле поддавался.

Первой читала свой список Капля.

— Дюмон-Дюрвиль! — воскликнула она.

— Вычеркнули, — говорила Нина.

И мы вычеркивали.

В перечень знаменитых людей разрешалось включать фамилии и имена литературных героев, существ третьего мира.

— Джульетта, — говорила Нина.

— Д'Артаньян, — говорил я.

И мы начинали спорить: на «Д» он или на «А».

У нас были любимые имена-фамилии из этих списков: Грумм-Гржимайло, Ломброзо, Дамаанти, Литке, Марион Делорм (поддаваясь, я разрешал своим девочкам писать ее и на «М», и на «Д»). Оказалось, что Нина увлекалась историей балета: ее список украшали неведомые нам Легат, Леньяни, Кякшт, Эльслер. Нижинского и Ваганову мы знали.

Поскольку Капля зачитывалась книжкой Сетон-Томпсона (затрепанной, чудесной, из моего детства, с иллюстрациями автора) «Животные-герои», включались в перечень знаменитостей клички животных из рассказов о них: Арно, Снап, Крэг-Кутенейский баран, Билли-из-Бэдленда.

Странными коммунальными соседствами отличались в самые дождливые дни наши реестры: Суворов, Снап, Сулико, Сулимо-Самойлов, Суок. Или: Кулибин, Козловский, Кутузов, Крэг-Кутенейский баран, Куинджи, Кук.

Засчитывались за два разных персонажа мышонок Пик и Пик Вильгельм. В двух лицах фигурировали на паритетных началах фамилии писателей и их псевдонимы: Стендаль и Анри Бейль.

Нас веселило, что иногда у всех список на какую-нибудь букву начинался с одной и той же фамилии либо имени.

Были буквы гробовые, вроде «Э» или «Ц»; были легкие — «М» или «Н».

Мы разлучали Бойля с Мариоттом, Борда с Жангу, Чука с Геком.

К концу второго лета Капля с ее цепкой детской памятью, вслушивающаяся в наши списки, постоянно выяснявшая, кто есть кто, без всякого подыгрывания выбилась в чемпионки, даже на «Ч» и «Щ», с уверенностью опережая нас пропущенными нами Чимабуэ или Щуко. Теперь уже Нине приходилось выяснять, кто такие Гейтс, Рианна, Меркьюри, Курт Кобейн или Адамсы. Зато она знала, кто такие Амонасро и Сюимбике. А я знал, кто такие Пуркинье и Виктор Орта. В городе Капля могла бы их тотчас прогуглить, но в летней деревне, где мы играли, не работал Интернет, молчали мобильники: глухое было место, заповедное.

— Надо посмотреть, — сказал я, — как этапировали из Петербурга на каторгу Достоевского, не этой ли дорогой.

Мы заговорили о женах писателей и поэтов.

— Мне Наталья Пушкина и Софья Толстая не нравятся, — сказала, насупившись, Капля.

— Главное, чтобы их мужьям, авторам, они нравились, — сказал я.

— Они похожи на запоминающиеся образы персонажей, — произнесла она задумчиво. — Авторы женились на образах?

— Авторы женились на ком попало и превращали жен в образы? — предположил я.

— А кто тебе из писательских жен нравится? — спросила Капля.

— Анна Достоевская.

— Знаешь, — сказала внучка, — она чем-то напоминает нашу Вавилонию.

В этот момент проезжали мы советскую биржу. Она была черно-серая, с фальшивыми простенькими слоновыми колоннами, называлась «Союзпушнина», предназначалась для торгов мехами, мягкой рухлядью. Мягкая рухлядь была золотая, дороже денег; на дверях одного из флигелей висела надпись — стекло, золотом по черному: «Управление управляющего». Остальное мелким шрифтом. Поскольку я всегда проезжал мимо или пробегал, два эти слова остались для меня на всю жизнь нерасшифрованными. Страна торговала содранными со зверей шкурами и кровью динозавров — нефтью.

Свернув с Московского меридианного проспекта в жилмассив, где должна была находиться улица, означенная на клочке бумаги, оказались мы словно в другом городе.

Мне не раз приходилось открывать в любимом моем Ленинграде малые лавры внутренних городков: огороженные территории Военно-медицинской академии напротив Витебского вокзала и Педагогического института имени Герцена, квартал вокруг университета, загадочные рынки на Лиговке и в Апраксином дворе.

Похожие места окружали Институт Иоффе, Лесотехническую академию, Оптический институт — лавры мирские.

Квартал, по которому шли мы с Каплей, напоминал уездный околоток в каком-нибудь Урюпинске или Царевококшайске. Увидев акварели Баганца, где в блистательном Санкт-Петербурге девятнадцатого столетия не то что на окраинах, а в самом ни на есть центре брандмауэры пяти- и шестизэтажных домов соседствовали с деревянными одноэтажными домиками, двухэтажными флигельками, арочными каменными воротами в несуществующие сады, вспомнил я наш первый визит в музей «популярной механики». Тут легко встречались и сливались в солнечный день тень и полутень, тон и полутон; оттеняя разные их срезы, вспыхивали в акварелях Баганца яркие пятна сушащегося возле дворового сарая белья, а в нашей с Каплей прогулке возникали то там, то тут остролистные листья сорняков — желтые малютки, подобные львиному зеву, столь неуместные в двух шагах от парадной, причепурившейся дороги на Москву, украшенной триумфальными воротами имени Первопрестольной.

Должно быть, лет сто или около того стояли в окнах двухэтажного домишки с деревянным вторым этажом под двускатной крышей алые герани, неведомо как пережившие настойчивые ужасы эпохи.

Привалившись к древнему забору, стояла трансцендентная лавочка, на которой временно некому было семечки лузгать. Над забором нависали совершенно неуместные яблони с китайскими яблочками, оставшиеся, видать по недосмотру, от здешних, давно выкорчеванных и позабытых загородных садов.

И над всем этим неправильным, неуловимо уютным в нелепости своей околотком парила огромная масса неба. Как заметил один наш заезжий гость уже в восемнадцатом веке: «России досталось слишком много неба». Заметим и мы: ее окну в Европу тоже достался переизбыток небесных пространств. С чем безуспешно пытаются бороться собаки-зодчие, хваткие и якобы деловые заказчики их и все, не переваривающие слово «небесный», — бесовское воинство.

— Домодедов, асфальт кончился!

Те, кто набивал подобную старинным сельским дорогам мостовую, знали, что делали. Такие набивные улицы видел я в детстве на Карельском перешейке: они сильно отличались от сельских объездов, в ямах, выбоинах, промоинах и колдобинах.

— А вот булыжник!

Булыжные мостовые встречались ей и раньше, очень нравились за то, что булыжники были все разные и по цвету, и по форме. Капля увлекалась минералогией.

— Что за квадратики!

— Диабазовая плита, — сказал я, — раньше в центре города встречалась. У Преображенского собора, у Греческой церкви.

— А тут вообще пеньки!

— Это не пеньки — торцы, торцевое мощение, спилы стволов. Твоя бабушка рассказывала — полно было в городе торцовых улиц, но в наводнение вода их подмыла, они всплыли, их потом сушили на дрова, улицы пришлось перемостить. Когда я был маленький, в районе Новгорода был участок торцового шоссе Ленинград—Москва, ехали, как по шелку.

Не в краснокирпичном трехэтажном (о, этот чудесный вишнево-краплавый клинкер конца девятнадцатого века!), напомним мне женскую гимназию-гостиницу Свяжска, не в желто-белом, времен сталинского ампира (с белыми колоннами! порталами!), то ли клубе, то ли кинотеатре, то ли особняке для особых людей, — но в маленьком, двухэтажном, прилепившемся к четырехэтажному соседу флигельке, выкрашенном кладбищенской голубенью, расположился наш пункт назначения, то ли музей, то ли выставка больших механических игрушек.

### **Войти в музей, выйти из музея**

Когда мы впервые привели маленькую Каплю в Эрмитаж, чтобы показать ей часы «Павлин», она долго стояла, вглядываясь, а потом, показывая на петуха, спросила меня шепотом:

— Его заперли, чтобы он никого в лысину не клевал и чтобы не было войны?

Я в первый момент не понял, что речь идет о пушкинском золотом петушке.

При входе в зал кинематических диковинок висела табличка с надписью: «Входите весело!». Когда мы уходили, Капля заметила на обороте таблички другую рекомендацию (обе в стиле Эйлин Грей): «Входите крадучись».

— Когда вы вешаете ее на ту сторону? — спросила она у смотрителя.

— Это для ночных посетителей.

— Они приходят каждую ночь?

— Нет, — отвечал он, — в последнюю ночь перед полнолунием.

Хотелось сказать: «Черт знает что!» — но я смолчал.

— По правде говоря, — сказал он нам в затылок, — есть и другая табличка. Про выход. «Выходите весело!» и «Выходите крадучись». Иногда мы вешаем и ее. Только редко.

Я не спросил когда, он ответил сам:

— В день новолуния.

— Но есть и третья табличка, — снова сказал он нам вслед.

И мы снова вернулись.

— Какая?

— «Вход как вдох», — сказал он. — А на обороте «Выход как выдох».

— А эта для кого?

— Мне не хотелось бы говорить на эту тему, — сказал он.

— Мы еще придем, — сказала Капля. — Если можно, когда вы увидите, что мы подходим, не вывешивайте ни одной, пожалуйста.

— Согласен, — сказал он.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Можете называть меня господин Сяо.

Едва ступили мы за порог, Капля сказала:

— Я сразу догадалась, что он китаец. А ты, деда?

Чтобы он не успел сказать нам что-нибудь еще, мы затащили нашу любимую песню. Мы быстро уходили по околотку, квартал бежал навстречу, пели мы:

Милее всех был Джеми,  
мой милый, любимый,  
любил меня мой Джеми,  
так преданно любил!

Одним изъязном он страдал:  
он сердца женского не знал,  
любимой чар не понимал,  
увы, мне жаль, мне жаль!

### Механоиды и жакемары

Колокольников собирал объемные подвижные произведения из бесчисленного количества причудливых мелочей: игрушек, винтиков, пружин, деталей замысловатых приборов и часовых механизмов, дополняя собственноручно выполненными элементами, объединяя их в единую хитроумную систему, и оживлял в итоге всю конструкцию путем «включения ее в электросеть»...

Тогда начиналось Действо! В меняющейся цветной подсветке вращались небесные своды и земные сферы, Солнце, Луна и звезды вступали в медленное движение, затем, тоже по очереди, объявлялась масса мелких персонажей, словно по расписанию точно знающих свои выходы и роли, — мир оживал! Невообразимые птицы и животные, в несколько сантиметров величиной, населяли пространство меж объемными сюрреалистическими конструкциями из фигурных гор, покрытых узорами, русел рек, ущелий, каскадов. В этих ландшафтах произрастали узкие высокие сооружения, включавшие архитектурные фрагменты разных эпох. С уходом Солнца небеса наливались синевой, в сооружениях этих зажигались огни, медленно выплывал Месяц, из верхнего освещенного окна появлялся и начинал пересекать пространство крошечный средневековый канатоходец, держа поперек груди отвес и балансируя на еле заметной проволоке. Когда же исчезала Луна и звездная пыль рассыпалась по небу, освещая лишь контуры предметов, придавая им мистическую завершенность, серебряный рыцарь на бронированном коне торжественно проезжал по горным вершинам, и ни зверя, ни птицы не оставалось уже в этом замершем, застывшем пейзаже, изрытом, словно поверхность мертвой планеты, таинственными воронками и кратерами.

Несколько творцов одновременно уживались в Колокольниково: один, философ-поэт, занимался науками отвлеченными; второй, мастеровой типа Левши, конструктор à la Кулибин, доморощенный инженер-волшебник, вроде тех, кого отобразил немецкий сказочник Гофман, что в романтические времена умудрялись вдохнуть в своих механических кукол некое подобие жизни; третьим же был художник, рисовавший ясные и добрые образы с наивными, отрешенными лицами, чистой воды строгая русская классика нового, так никогда и не наступившего времени.

*И. Чернова-Дяткина. Пришлец*

...Меня так и подмывает бросить им слова Макбета: «Незряч твой взгляд, который ты не сводишь с меня. [...] Мне глубоко претит вся эта механика мертвых фигур, подражающих человеческим жестам».

*Э.-Т.-А. Гофман. Автоматы*

Когда позже прочитал я в журнале «Нева» роман «Пришлец», я понял: написавшая его Чернова-Дяткина несомненно посещала наш волшебный флигелек и с господином Сяо водила знакомство.

Он выдал нам билеты, разложенные при входе на крохотном столике с табличкой: «Детям и пенсионерам скидка», — и мы оказались в зале, уставленном экспонатами. В центре стояли вертикальные витрины (целая компания), поэтому передвигались мы по кругу.

Увиденное показалась мне занятым, забавным, а на Каплю произвело необычайно сильное впечатление.

Стояли экспонаты на открытых подставках, в долгих остекленных ящиках, в футлярах, в шкафчиках наособицу, снабженных этикетками, пусковыми кнопками, прорезями для шарика, монетки или жетона (иногда соседствовали две прорези: шарик и монетка вызывали разные действия маленьких андроидов).

Встречала посетителей при входе заводная современная яркая парочка с итоговым дарением букета, снабженная этикеткой: «8 марта. Внезапное весеннее обострение любви». При входе комната была освещена, вторая, дальняя ее половина погружена была в полумрак, — зато освещены витрины с персонажами: четверка времен Шерлока Холмса (полицейский, священник, два жулика в кабинке, напоминающей кабинку лифта); печальный отец в летах, шлепающий монстрикамалютку; старая гадалка с картами, гадательным кристаллом, зеркалом (из прорези желающим выкатывались подобные чекам или билетикам предсказания); старинные автоматы (шарманщик с сурком и куколка-панночка с лютней). Все — совершенные чудеса механики, ничего от кукольного театра, где маленьким актерам, одушевленным рукодельной неправильностью и не вполне одинаковым действием, необходим актер-человек: его голос, его сбой, его чувства.

В освещенной части, где прозрачный бесенок катался упоенно на прозрачном конструкте-паровозике с колокольчиками, а железный хамелеопард перманентно сбивал с ног и поедал незадачливого сафари-охотника, встретился нам яркий, свеженький Анупис, то ли точная копия одного из близнецов своих из музея в Глазго, то ли и впрямь кто-то из них, путешествующий, купленный, взятый напрокат.

Древнеегипетский бог бальзамирования, смерти, загробного мира, ядов и лекарьств, проводник умерших, оберегатель кладбищ и мумий, обладатель острой шакальей морды и мафиозного шарфика, некогда бывший черным псом, с упоением по-

ливал из лейки свой заговоренный посох, на глазах прорастающий побегами ядовито-зеленого цвета. Потом он ставил лейку, посох втягивал побеги в прорези. Анубис снова поливал, посох опять прорастал.

Полной загадкой для меня, как и прежде, осталось: почему именно Анубис? Что за борьба с божествами путем снижения их страшноватых образов до скромных, пресвельных бытовых действий? Чем, кстати, посох-то поливает? Каким ядохимикатом, химия-на-поля?

Середина зала посвящена была арт-механике. Смесь дизайна, антидизайна, театральный феерии, загадочных предметов и инсталляций из фильмов «Обыкновенное чудо» (дом волшебника) и «Господин оформитель». Кинетические скульптуры, механические картины, видения наркотических снов, сюрреалистических рисунков сумасшедших и полупомешанных (которые видел я в старинном учебнике психиатрии).

Андройды и их создатели, отсутствующие тавматурги (последнее название восходило к древним временам — древнегреческому мастеру Герону, древнеегипетским умельцам, нанятым жрецами и создававшим изваяния божеств: изваяния поворачивали головы, открывали рты, говорили) обступили нас вместе с малютками жакемарами.

Название «жакемары», применявшееся к старинным заводным куколкам (например, выходявшим из часов, каждому часу соответствовала своя фигурка), толковали, насколько я помню доклад Филиалова, по-разному: эти жакушки и джекушки, по мнению большинства трактователей, обязаны были наименованием своим некоему *Jacque* или *gask* — инструменту, используемому механиками, строящими башенные часы.

Я же склонялся к тому, что слово «жакемар» находилось в родстве с французским «кошмаром» и английским «nightmare» — персонифицированными ужасиками чарами, то ли суккубами, то ли инкубами, я их путал всю жизнь.

О, сотвори мне парочку жакемаров, тавматург! Страшное дело...

Один постамент был пуст, хотя этикетка сообщала, кто отсутствует: «Японская куколка каракури, подающая чай и уезжающая с поклоном»; видимо, она уехала дальше, чем ожидалось.

— Деда, дай мне монетку! — теребила меня Капля за рукав. — Я хочу предсказание от гадалки с картами.

Предсказания вряд ли могли сойти за таковые, скорее, напоминали они рекомендации или глубокомысленные сентенции; такие бумажки достают с давних времен лапкой из шапки ярмарочные ученые попугаи. На бумажке, доставшейся Капле, было начертано: «Живи своей жизнью!». Капля уговорила и меня получить свою рацею на сложенной бумажонке. На моей значилось: «Никогда не унывай, даже на мгновение!»

— Давай возьмем с собой предсказание для Вавилонии!

Нина, развернувшая свою цидулку дома, прочитала: «Ты элегантная подвижная личность, маскирующаяся под спокойного, тихого человека».

Особо привлек внимание внучки нашей стоящий в дальнем левом углу длинный ящик высотой со старый аппарат газированной воды или самоновейший полузапрещенный игровой.

За его застекленной дверцей расположен был кусочек улочки с узким высоким трехэтажным зданием в центре (был и подвальный этаж — под мостовую, в выемке под улочкой) и двумя — ювелирной лавки справа, баром слева — домишками по бокам. На высоком здании написано было: PRISON — ТЮРЬМА. Множество жакемаров-малюток принимали участие в маленьком спектакле в нескольких действиях, разыгрываемых по указке опускаемого в прорезь матового стеклянного шарика и дополнительно открывающих следующие картины действия монеток.

Все вертелось вокруг крошки-шаромыжника, который руководил каждым новым поворотом сюжета. Каждое действие в зеленом угловом ящике начиналась с появлением позитивистской фигурки мизерного главного жакемара; он был пружиной событий, заводилой, с него начинались драки, потасовки, кража драгоценностей, попытка побега, тюремный мятеж, убийство полицейского.

— Он тут начальник всего, — сказала Капля.

Когда она увлеклась танцами маленьких балерин под звуки музыкальной шкапулки, я спросил у господина Сяо, какая история закрыта и затемнена в подвале «тюрьмы»? Что там вытворяет попавшийся жакемар?

— Там гильотина, — отвечал господин Сяо, — там ему отрубают голову. Мы не включаем эту сцену днем, когда нас посещают дети. Только для вечерних и ночных посетителей.

— Однако нам пора, — сказал я. — Капля, ты опоздаешь на плавание.

— Мы еще придем! — сказала она смотрителю. — Домодедов, ведь мы еще придем?

В троллейбусе я рассказал ей о любимых витринных автоматах моего детства: оживающей объемной картине «Охотники на привале» возле кинотеатра Колизей в магазине «Спорт—охота» и пьющего (через полквартила, на углу Маяковского и Невского, со стороны проспекта) томатный сок медведя. Чучело натурального медвежонка, снабженное механизмом, исправно подымало лапу со стаканом, опорожняла его; в моем послевоенном детстве медведь пил томатный сок, возможно, до войны, со времен нэпа, предпочитал он красное вино либо портвейн.

Обычно устававшая и быстро засыпавшая после бассейна Капля болтала без умолку, спеша рассказать Нине об околотке, музее, господине Сяо, предсказательнице и Начальнике Всего из углового шкафа. Наконец она иссякла.

— А чем отличается механоид от жакемара? — спросила Нина.

— Чертик на паровозе, Анубис и все арт-кинематоны — механоиды, — убежденно отвечала Капля, — а Начальник Всего — самый что ни на есть жакемар. Правда, Домодедов?

Я подтвердил.

Засыпая, подумал я, что Начальник Всего на кого-то похож; я увидел это, когда надел очки, вот только на кого, я не мог вспомнить.

## Постоянные посетители

Именно к периоду постоянных посещений относились и повторяющиеся просьбы съездить то в Барселону, то в Лос-Анджелес, то в Тель-Авив, то в Глазго: места самых известных музеев автоматических игрушек, оазисов кинематических царств.

Пожалуй, и у Нины, и у меня была, по крайней мере, одна совершенно одинаковая черта — чрезмерность увлечений чем бы то ни было. Так что у Капли сложности по части наследственности возникли, как минимум, с двух сторон. Она увлеклась кинематоном, механоидами и прочими заводными игрушками не на шутку. И мы стали постоянными посетителями. Господин Сяо встречал нас как хороших знакомых или родственников.

— Для вас сюрприз, — сказал он в третье наше или четвертое посещение. — У нас появился экран с несколькими сюжетами.

Он включил экран, и я увидел сидящую за цимбалами Марию Антуанетту. Не знаю, сколько времени длилось ее появление передо мной, возможно, минут десять, но на экране десять минут — очень много, а если еще учесть ее первое появление, когда я уснул на лекции Филиалова в Свяжске, а Нина расплакалась и мы выбе-



жали из зала в вечер, полный сирени, да еще то, что я знал о французской королеве, присутствие ее маленькой копии-андроида было невероятно долгим.

На точеной шее куклы красовалось жемчужное ожерелье (шесть рядов жемчуга, ожерелье королевы), скрывающее, может быть, рваный шрам от гильотины: в какую-то минуту, когда она остановилась, прекратились изящные движения рук ее с тонкими, небрежно держащими молоточки цимбал пальцами, закончилась одна из пьес Глюка, она опускала голову, дышала, смотрела на струны, — и она повернулась, движением головы и глаз, она посмотрела прямо на меня — возник тот самый кадр, на котором проснулся я и расплакалась Нина. Я понял теперь, отчего Нине стало так жаль Марию Антуанетту. Каким-то непонятным образом кукла стала ею.

Дальше показали нам цимбалистку со спины, без парика (великолепная работа скульптора): тонкая талия, расширяющиеся ягодицы, как у Венеры с зеркалом на картине Веласкеса, стройные ноги. Были видны механизмы, было видно, что перед нами кукла, но было в ней что-то трогательно живое, настоящее. Может быть, та любовь, с которой делал ее мастер? Или то, что маленькая, жестоко обезглавленная толпой искателей справедливости французская королева теперь стала этой музыкантшей?

Тут на экране возник Анубис, подносящий лежащей на кушетке деревянной Олимпии Мане кофий и шкалик абсента, — и я очнулся.

Я чувствовал себя слегка помешавшимся, как помешалась на ящике с тюрьмой и вездесущим жуликом Капля.

Посмотрев на господина Сяо, я подумал: уж не гипнотизирует ли он нас?

И хотя я ничего подобного не произносил, покачал головой господин Сяо:

— Нет, я никаким внушением и гипнозом не занимаюсь. Но хочу заметить, что вся эта компания человечков и кинематических устройств создает какой-то эффект гипнотический. Мне, как вам сейчас, частенько приходят в голову в этой комнате всякие несообразности.

— Я все пытаюсь понять, — сказала Капля, когда ехали мы на троллейбусе домой, — как он перебирается с этажа на этаж? Может, там, сзади, за декорацией, есть что-то вроде лесенок или лифтов?

— Кто перебирается? — спросил я, думая о своем.

— Начальник Всего из тюрьмы в углу.

Ей не приходило в голову, что одинаковых фигурок ее героя было несколько, а я смолчал.

И если с каждым посещением я все острее чувствовал однообразие, автоматичность, какую-то мертвенность эстетики этих аккуратно сработанных, остроумно сконструированных жакмаров, — ее они очаровывали и завораживали все сильнее. Пока наконец это обольщение не прервалась самым неожиданным образом.

### «Это он!»

Вечер был как вечер, ничто не предвещало: мирно струилась омывающая посуду вода на кухне, лепетал телевизор, шептало свое старое радио, лаял пес соседей слева, снова что-то сверлили соседи справа, по чердаку над нами носились просочившиеся туда по недосмотру (с крыши на крышу) бездомные коты, кричали на улице повадившиеся с залива на городские помойки чайки.

И в эту ткань неизвестной миру очередной городской симфонии Пендерецкого влился звонкий голосок Капли, кричавшей во всю глотку:

— Бабилония! Домодедов! Идите скорее, пока он в телевизоре! Он появился! Он превратился в человека!

— Кто появился? — спросила Нина, появляясь из кухни.

— Кто превратился? — спросил я, возникая из маленькой комнатухи-кладовки, служившей мне кабинетом и мастерской.

— Эн Вэ! Начальник Всего из угловой тюрьмы музея!

С телеэкрана смотрел на нас Энверов. Как следовало из дикторского текста, он и вправду вышел из тюрьмы, где просидел довольно-таки долго за махинации с совершенно фантастическими суммами денег, переводы их на счета (что такое «офшор»? — спросила Нина) в неведомые края: до посадки владел он некими фундаментальными предприятиями, связанными с нефтью.

«Эн Вэ»? Энверов? Не называл ли он сам себя Начальником Всего? В телевизоре звучала совершенно другая фамилия.

— Надо сейчас же ехать в музей! Надо посмотреть, есть ли он в автомате-тюрьме! Теперь автомат не должен работать, потому что он оттуда исчез и стал человеком!

Я объяснил Нине, что такое «тюрьма в углу» (та, в которой сидел настоящий Энверов, вряд ли была угловой), чей главный персонаж, по мнению нашей внучки, походил на героя телесериала последних известий, а Капле — что я никуда с ней в ближайшую неделю не смогу поехать: у меня срочная работа, я подрабатываю, надо сделать заказ, дней через десять. Перед тем как Энверов пропал с экрана, я еще раз успел его разглядеть. Он и вправду был похож на жакемара из угла, и это показалось мне забавным.

### Пропущенная новая эра

Как выяснилось, человек, которого знал я под фамилией Энверов (я так его и буду называть впредь), был известным лицом, детали его блистательной карьеры, прерванной заключением, его письма из тюрьмы, подробности суда, факты биографии и тому подобное не были новостью ни для кого из моих друзей, знакомых и родственников. Все были в курсе дела, кроме меня.

Так сложилась моя жизнь, что я пропустил целый отрезок времени — объявленную новую эру, и хотя она донимала меня пустыми полками магазинов, безденежьем, запустением, всплесками уголовщины, касавшимися моих друзей и родственников, большинство деталей ее и свойств прошли мимо меня. Ужасающее дорожное происшествие, чуть было не отнявшее у меня жену, страшные травмы Нины, ее балансирование между жизнью и смертью, все испытания, выпавшие на нашу долю в связи с этим, включая рождение детей, воспитание их, уход за ними, — в то время как матушка их была так слаба и сама нуждалась в помощи, восстановлении и уходе, работа на нескольких фронтах, которые только на житейском языке назывались «халтурами» (я всякое дело делал старательно и честно, изо всех сил, по врожденной привычке, помня, что в сутках двадцать четыре часа), — все, вместе взятое, обвело меня какой-то непонятной тем, кто так не жил, стеною. Бритоголовые разбухшие существа без затылков, с золотыми цепями на шеях, ваучеры, монетизация власти при помощи «приватизации», легализация тюремной этики омывали остров обитания моего, где я боролся за жизнь любимых моих.

Я пропустил блистательные биографии вышедших на сцену новоиспеченных хозяев жизни, новых певцов, новые песни, дебаты, горы болтовни, всплеск газетных откровений, статьи о покушениях и убийствах, моду на цветные пиджаки и кожаные куртки.

— Вы на редкость аполитичный человек, Дорофеев, — сказала мне одна из активисток нашего конструкторского бюро.

Да хоть горшком назови, только в печь не станови. Хотя спал я, подобно одному из отроков Эфесских, именно в печи пропущенной мною эпохи, объявленной во всеуслышание новой эроу вездесущими журналистами. И два ее порождения, севшие за руль (жулики? холоуи жуликов? у меня лично денег на машину не было, поскольку я был обычный честный человек), хотя им, видимо, и самоката нельзя было доверять, столкнувшись, чуть было не отправили всю мою жизнь в тартарары, потому что моя любимая жена, переходившая улицу по зеленому свету светофора, оказалась между ними.

К тому же большинство актеров, разыгрывавших долгую пьесу тех лет, особым талантом не отличались, о драматургах и тавматургах вообще молчу; а я, знаете ли, театрал, завсегдатай, душа партера, вздох с галерки, видал великих артистов, их и предпочитаю.

Даже Нина слышала (и читала) настоящую фамилию Энверова и в общих чертах представляла себе его, так сказать, жизненный путь; но ей никогда не попадались его фотографии: мы не выписывали газет, сэкономили и на этом, старый наш телевизор давно погас и свалил на помойку, нового нам было не купить; я был счастлив, что компьютер у меня имеется. Что до подробностей существования самоновейших, как их нынче называли, «олигархов» (а Щедрин говаривал «вор-новотор»), то они мне были как-то ни к чему. Только иногда, очень редко, мелькало в сознании моем что-нибудь по их поводу, например: «Есть ли у новых миллионеров и миллиардеров общак?» И тотчас улетучивалось, мелькнув.

### Капля изучает образ НВ

— Как?! — воскликнула она. — И ты, Вавилония, и Домодедов встречали НВ в молодости? Он тогда еще не был в тюрьме?

— Тогда еще не был, — отвечала Нина.

Она имела в виду натуральную тюрьму, а Капля игрушечную.

— Так он превращается туда и обратно?! Домодедов, когда мы поедем в музей? Как ты думаешь, господин Сяо в курсе, что вытворяет один из его подопечных жакемаров?

— Поедем дней через пять.

— Как долго ждать!

Она завела общую тетрадочку, в которую выписывала отрывки из газетных статей и интернетных сообщений, связанных с Энверовым. «НВ» выведено было на обложке.

— Что это? — спросила Нина, когда в один из вечеров принес я ей сию тетрадь, благо хозяйка уснула.

— Это досье.

Нина стала листать, читать вырезки из старых и средней новизны газет (три разных мальчишки приносили Капле пачки разных газет и газетенки-эфемерид; я не мог запомнить, кто Петька, кто Васька, запомнил Эдика, поскольку тот был рыжий), услышанные или почерпнутые из Интернета сплетни, записанные аккуратным почерком Капли, фотографии Энверова разных лет. В конце концов жена моя расплакалась.

— Феденька, что нам делать? Что этот чертов мафиозо делает в нашем доме? Может, наша внучка с ума сходит из-за первого переходного возраста? Что дальше-то будет?

### **Что ни дальше, то все хлеще**

И запотряхивало мир, страну за страной: что ни дальше, то все хлеще. Трясло бывшие республики Советского Союза; дружба народов, запечатленная в фонтане на ВДНХ в виде хоровода золотых женских фигур, оборотилась яростной враждой, войнами, резней. Трясло то там, то тут: восстания, марши протеста, теракты, взрывы, потасовки, выстрелы на всех широтах и долготах, включая Африку.

— После Чернобыля, — говорил один из друзей моих, чьи коллеги изучали Зону, вот только результаты их исследований были тайной за семью печатями, — рехнулись все. В небе таможен нет — тучи плывут, куда хотят, всех полил ласковый атомный дождь, а нас еще и на демонстрацию всех гоняли под дождиком этим. Между прочим, там не только от радиации люди страдали, — поплыли все хроники, проявились все предрасположенности, генетические и структурные, которые могли бы в человеке не проспать вовсе.

Он был помешан на Чернобыле и отдаленных результатах аварии на АЭС (он говорил: какая авария? катастрофа мирового масштаба), как Капля на Начальнике Всего.

— Это он! — кричала Капля. — Он мстит всем за то, что сидел в тюрьме! Он думает, что он граф Монте-Кристо! Он ненавидит всех! Кого подкупает, кого покупает, кого убивает. Он хочет расшатать весь свет и стать председателем Земного шара! Я это знаю. Никто не понимает. Деда, надо бороться со злом. Мы должны его остановить.

— Думаю, что «Графа Монте-Кристо» он не читал, — возражал я. — Читающие люди чаще всего такими не вырастают. Председателем Земного шара был поэт Велимир Хлебников. Второму не бывать.

— Бороться со злом? Остановить? — говорила мне Нина. — Она метит уже не в правозащитницы, а в террористки. Феденька, что нам делать?

— Успокойся, дорогая. Не плачь. Что-нибудь придумаем. Не худо бы посоветоваться с нашей психиатрессой.

Речь шла о славной докторше, которая очень помогла Нине после травмы.

— Ты думаешь, она больна? И ее пора сажать на психотропы и нейролептики?

— Все, все, перестань, не убивайся раньше времени. Сменим тему. Сменим пластинку?

— Пластинку?

— Расскажи мне.

— Про что?

— Про лося. И про «никогда».

### **Лось и никогда**

Наши рассказы друг другу о детстве начинались со слов: «Когда я был маленький» и «Когда я была маленькая».

Кроме ее коротенького рассказа про «никогда».

— Наша детдомовская воспитательница, женщина тихая, строгая, могла бы показаться суровой, если бы мы не чувствовали, как она любила нас. Она старалась по всякому поводу поговорить с нами, внушая нам правила жизни. Но одно присловье повторяла она время от времени без повода вовсе: «Никогда не лгите, дети. Кто лжет — тот ворует; кто ворует — тот убивает. Не лгите никогда!»

— Теперь лось.

— Когда я была маленькая, наш детдом во время ремонта переехал на полгода в старую дачу на Карельском перешейке. Воспитательницы и повариха топили из-

разцовые печи, снега окружали наш временный дом, но в нем было тепло и чисто, хоть бедно и пусто. Мы не были голодны, но не были и сыты, всегда хотелось чего-нибудь погрызть. Хотя нас не посещали мечты — навязчивые образы сыра, колбасы, котлет, сосисок, возникавшие в начале девяностых у всех и каждого, кроме жуликов и начальства. Однажды ночью я проснулась, может быть, что-то снилось. Может, что-то почуяла. Тихо, бесшумно, чтобы не разбудить всех девочек нашей спальни, проскользнула я к окошку. Полнолунный свет лежал на пушистых снегах, на отороченных белым елях и соснах. И тут я увидела его. Ограды вокруг нашего стоявшего чуть на отшибе от поселка, чуть дальше околицы дома не было — то ли ее давно сдали в металлолом, то ли старинные хозяева предпочитали живую изгородь. Он вышел из леса, шел к дому, лось с великолепными рогами, скорее, подросток лосенок. Я уже читала «Серебряное копытце» Бажова, он показался мне героем сказки, я вспомнила, как Серебряное копытце высекал, стукнув ножкою, россыпи драгоценных самоцветов, стояла, замороженная. И тут пришло мне на ум: если, подобно мне, проснется кто-то из взрослых, его поймут, убьют, мы будем есть лосятину и лосиную колбасу. Я решила спасти лося. Тихо-тихо спустилась я со второго этажа по деревянной скрипучей лестнице: ступени были за нас, не скрипнули. У входа висел ватник поварихи, ее огромные валенки, в рукаве ватника старый оренбургский платок. Я оделась: валенки были огромные, у меня ноги сводило оттого, что я старалась удержать их и не упасть. Отодвинув засов, я вышла в лунный снег. Лось стоял и смотрел на меня. Я не боялась его, хотя была девочка трусоватая, не отчаянная, и он меня не боялся. Я подошла. Он стоял: чудные рога, глаза с ресницами. Я, осмелев потрогала его, он дался потрогать, не убежал. Я стала толкать его, гнать в лес обратно. Он не хотел уходить, как упрямый ослик. Я сорвала с маленькой ели ветку, стала гнать его, как гонят коров. Наконец он пошел в лес, в свое царство. Перед тем как скрыться в лесу, он остановился, обернулся, посмотрел на меня. А потом исчез. Я вернулась в спальню, залезла под одеяло; сердце мое колотилось: я спасла его, спасла, его никто не съест. Утром меня едва добудились. Я никому не рассказала про ночное приключение, а в конце ночи стал валить снег, он покрыл наши следы, мои и лося, словно их и не было. Я было подумала: уж не приснилось ли мне все это? Но на прогулке увидела я сломанную мною ночью еловую ветку, хворостинку в иголочках, и счастье снова охватило меня. Пока длилась наша зимняя жизнь в покинутом особняке, всякий раз на ночь я вспоминала лося, желала ему счастья и засыпала блаженным сном.

### «Уезжайте!»

— Вот! Вот! — кричала Капля, вбежав и потрясая своей досьеподобной тетрадкой. — Вот еще доказательства! В сентябре Начальник Всего собрал на своей загородной вилле заговорщиков-единомышленников — обсудить, как выгнать нескольких президентов, начиная с нашего, чтобы захватить власть. Это пишет один из заговорщиков. Их было пятеро за столом. А осталось трое: одного отравили, другого застрелили среди белой ночи прямо в центре города! Теперь четвертый про все рассказал: он боится, что и его НВ прикажет прикончить, он в бегах!

Тут швырнул я об пол коробку с чешскими карандашами (разлетелись в разные стороны дротики) и закричал:

— Да это черт знает что! Раньше ты писала романы: приключения, пираты, сокровища. Когда твой китайский император припарковал коня у пещеры волшебника,

я душой отдышал! Ты могла бы сочинять чудесные истории о королевстве жабцов, республике ос, древнеегипетских царствах термитов и мурашей, о перелетах птиц, о жуках-оленьях и жуках-носорогах! Так нет! Твои герои — не семья Адамсов или Хогбенов, нет, это мафия, крестный отец, братья-преступники, сестры с гранатами, шурин свата с кофлой и теща-подельница! Нашла чем интересоваться. Мало дерьмовых детективов наснимали киношники по заказу мафии, которая, вишь ли ты, бессмертна! Какая новость: мафиози — лгуны, воры, убийцы, мочат всех подряд, своих и чужих, плетут интриги, баламутят, мутят воду, подстрекают к войнам, чтобы было кому сбывать оружие, которое варганят ради денег, или наркотики, убивая толпы людей на всех широтах и долготах! Это давно известно, никакие доказательства тут не нужны! Носисься как курица с яйцом с жакемаром-подлецом, обокравшим всю страну, чтобы трясти своими нахапанными деньгами, живущим за счет грабежа и лично за мой счет! Я больше этого слушать не желаю!

Капля и Нина смотрели на меня, разинув рты. Услышав мои вопли, вышел из угла своего потаенного кот, сидел, как статуя, неотрывно глядя на меня. Шапку в охапку, куртка нараспашку (шарф висел, как у мафиозо), вымелся я из дома, трахнув дверь, — французский замок щелкнул наподобие курка.

Уже на улице набрал я номер нашей знакомой психиатрессы и через час сидел у нее в кабинете при новомодной получастной поликлинике, где консультировала она всех желающих с поехавшей крышей. Со стен строго и с сожалением смотрели на меня столпы психиатрии — все незнакомцы, кроме Юнга, которого знал я в лицо.

Она слушала меня спокойно: у нее таких рассказчиков на дню сживало человек по пять не один год. В какую-то минуту мне показалось — она и ко мне присматривается: не сыпануть ли мне в кулак вместо семечек каких-нибудь транквилизаторов таблетированных и не плеснуть ли в стакан граненый брома либо валерьяночки.

— Прежде всего, успокойтесь. У девочки вот-вот начнется первый переходный возраст, он у среднестатистического ребенка наступает около десяти лет. Она, конечно, скучает без родителей, совершенно неосознанно, ее воспитывают бабушка с бабушкой, она одновременно под большой опекой и преувеличенным вниманием — и чувствует себя младше, чем есть, и отчасти лишенной самостоятельности. Плюс компьютер, нагрузка на глаза, врожденная повышенная эмоциональность... Где у вас дача? Какое там окружение?

Я сказал где. Три часа на машине, телевизора нет, Интернета нет, мобильник не работает, — только на холме у моста в двух километрах точка есть, мне одному известная. Иногда к деду-соседу внук приезжает, иногда художники с детьми. Медвежий угол, полузаброшенное село.

— Замечательно! — воскликнула она. — Вот и уезжайте. Прямо на днях. Она ведь отличница? Отпустят пораньше, до начала лета. А мы ей справку напишем. Что вы так вздрагиваете? Не про психиатрические отклонения справку, докторов знакомых полно. Слабые легкие, сотрясение спинного мозга после травмы: придумаем что-нибудь. За справкой заедете послезавтра. Надо сменить обстановку. Коренным образом. А осенью посмотрим. Думаю, все наладится.

Юнг смотрел мне вслед. И вдруг на улице вспомнился мне один эпизод из свияжских рассказов, промелькнувший в разговоре вне рамок семинара. Речь шла о девушке из России, почти подростке, привезенной в Швейцарию на лечение: истерия? шизофрения? Юнг лечил ее, у них начался роман, она вылечилась... Ее звали Сабина.

### **Кот падчерицы. Воспоминание о Сабине**

Я приходил к переводчице С. на Гаванскую. Из покоев выползал кот, подобранный на кладбище.

*Борис Ванталов*

Из подзабытого, растворенного времени семинаров Свяжска выплыла сценка — разговор на берегу, неподалеку от косы Тартари. Хотя, возможно, память подводила меня — все просто вышли в перерыве между сообщениями передохнуть, перекусить, посидеть на солнышке: а где сидели? на завалинке? На скамье, на которой некогда сиживал Иван Грозный? И почему вдруг всплыла фамилия Троцкого? Впрочем, она так и плавала в воздухе с незапамятного года его блистательного появления здесь: вот явился, не запылится, чтобы открыть столетие расстрелов, произнести речь с балкона, поставить памятник Иуде, тотчас же унесенный одной из рек.

— Троцкий увлекался психоанализом и покровительствовал психоаналитикам, — сказал Филиалов.

Энверов тотчас уши наострил и пересел поближе. Все, что касалось Троцкого и Гурджиева, вызывало в нем живейший интерес.

— Да с чего вы взяли?

— Мне это рассказал кот падчерицы Сабины Шпильрейн. Одному из своих гостей падчерица эта, известная ленинградская переводчица из Санкт-Петербурга (к тому же еще и однофамилица крупного чиновника армейского политотдела, за что советские издательства ее жаловали и уважали), поведала, что кота подобрала на кладбище. Не знаю, не вкралась ли тут ошибка. Мне рассказывали, что последний кот падчерицы Сабины был дареный, а никакой не кладбищенский. С которым общался я, когда был в доме в гостях? Может, с предпоследним? Или кот был точной копией увиденного хозяйкой на одном из кладбищ, петербургском или ростовском? Короче говоря, кот мурлыкал, передавал на кратчайшем расстоянии мысли, истории, эпизоды жизни, чувства и тому подобное. Хотя я не исключаю, что даритель дареного кота подобрал его именно на кладбище (возможно, на Смоленском).

Молоденькую ростовчанку Сабину Шпильрейн, полудевушку, полуробенка, то ли истеричку, то ли шизофреничку, привозят лечить в Швейцарию: первые попытки вылечить ее неудачны, она попадает в цюрихскую клинику Бургхельцли, где ее начинает лечить Юнг, применяющий метод психоанализа: уговоры, разборы полетов, гипноз и т. д. Лекарств для «малой психиатрии» тогда не существовало. Она становится его любовницей; ее роман с женатым, обремененным семьей Юнгом длится семь лет. Зигмунд Фрейд в одном из писем делает Юнгу внушение: как можно крутить роман с пациенткой? Они напоминают карикатуру на трио из пьесы Шоу «Пигмалион»: Юнг — профессор Хиггинс, Фрейд — полковник Пикеринг, Сабина Шпильрейн — Элиза Дулитл. В пьесе Элиза говорит Хиггинсу, что изучила его метод досконально и теперь будет обучать желающих английскому языку так, как учил ее он (Хиггинс возмущается). Сабина вылечивается, заканчивает Цюрихский университет, становится известным психоаналитиком. Она работает в Вене, в Берлине, в Женеве, в Лозанне; ее статьями и диссертацией восхищаются Юнг, коллеги и сам Фрейд; ее влияние испытывают Пиаже и Выготский. Она выходит замуж за ростовского врача Павла Шефтеля (которого встретила в Вене), рождает дочь Ренату, уезжает в Ростов, но через год супруги расходятся (не разводясь, на время). В списке городов, где с успехом практикует Сабина, есть и Москва: она науч-

ный сотрудник нескольких психоаналитических кафедр. И фантастического детского дома-лаборатории «Международная солидарность», для детей высокопоставленных чиновников (среди ее воспитанников Василий Сталин и сын Отто Шмидта). Это психоаналитическое гнездо расположено было на углу Малой Никитской и Спиридоновской, в особняке Рябушинского, и так же, как Институт психоанализа, находилось под патронатом Троцкого. «Вечно возбужденный» Троцкий мечтает с помощью психоанализа создать «нового человека». Воспитанникам «Международной солидарности» преподают азы сексуальной жизни с детсадовского возраста, приучая их к свободе и удовольствиям, раскрепощая их и т. п.

Потом Троцкий попадает в опалу, эмигрирует — Институт психоанализа закрыт, «Международная солидарность» тоже (особняк Рябушинского поделен пополам между Горьким и Алексеем Толстым). Сабина узнает, что в Ростове у ее мужа появилась невенчанная русская красавица жена, родившая ему незаконнорожденную дочь Нину (нашу будущую переводчицу); она уезжает из Москвы; семья восстанавливается. Но после того как у Сабины рождается вторая девочка, Ева, двоеженец Шефтель скоропостижно умирает, а его жены умудряются подружиться.

— Так что, — уточнил Филиалов, — наша Нина С. формально не совсем падчерица Сабины, но дочери Сабины, Рената и Ева («мачехины дочери»), — Нинины единокровные сестры, а в нашем языке нет слова, определяющего родство бесчисленных детей бесчисленных жен. Ну, дети — братья и сестры; а кем пятому сыну приходится третья жена? Было ли такое слово в культурах с многоженством? В Древнем Китае, например? Так пусть уж будет падчерица, так нам понятно.

Начинается война, немцы подходят к Ростову, и тут женщины разделяются: мать Нины С. уезжает, эвакуируется вместе с Ниной, а Сабина с Евой и Ренатой остается в Ростове. Она ждет немцев — это культурная нация, говорит она, бояться нам нечего. Скрипач Давид Ойстрах, некогда услышавший игру на скрипке младшей, Евы, говорит: у нее талант, ее ждет большое будущее. Рената играет на виолончели. Сабина мечтала родить Юнгу Зигфрида, но зигфридов нарожали другим другие.

Когда зигфриды входят в Ростов, они сгоняют пятнадцать тысяч евреев в Змиёвскую балку и расстреливают их. В числе прочих — Еву, Ренату и Сабину, которая к тому моменту перестала быть любовницей Юнга, любимицей Фрейда, известным психоаналитиком Европы, а стала беспомощной старухой ненужной национальности.

— Для полноты абсурда, — сказал задумчиво Времеонов, — не хватало только того, чтобы кто-то из палачей в детстве, когда у нас была дружба с Третьим интернационалом (а далее, к слову, с гитлеровской Германией), воспитывался бы в «Международной солидарности», сексуально раскрепощенный, без комплексов и культурных табу новый человек.

— Должно быть, вашей переводчице снилась время от времени гибель сестер, — сказала Тамила. — Недаром у нее оказался кот, подобранный на Смоленском. Весь подземный мир земли связан там, в глубине, артериями скрытых рек. И черными ручьями, венами, связаны все кладбища всех городов и стран, по ним мертвые передают свои мысли и чувства друг другу.

— Прекрати, — сказал ей Энверов, — пошли отсюда.

Он взял ее под локоток, увел к ночному речному берегу.

— Какие фантастические ужасы, — сказал Времеонов. — Хотя... Стикс и Ахерон... реки царства мертвых...

— Я лично ей верю, — сказал один из Тамилиных дизайнерских пажей, в тот вечер слегка подвыпивший. — Она должна знать толк в кладбищах и шепотках изпод земли: недаром ее любовные свидания с гансиком комсомольским всегда проходят на косе Тартари, а коса-то на скелетах стоит, как коралловый риф.



### Последний визит к господину Сяо

Наврав с три короба классной руководительнице Капли и ей самой, я чувствовал себя не в своей тарелке: врать мне не нравилось, но в роли я удержался. Капля настаивала: перед отъездом мы должны съездить в музей кинематических игрушек. Она была в школе, я поехал для начала один, объяснил кратко ситуацию господину Сяо, он выслушал спокойно.

— Перед тем как выезжать с внучкой сюда, — сказал он, — наберите меня, чтобы я мог вас встретить как надо.

Что и было сделано.

Я уже знал, что в прошлый раз Капля ухитрилась открыть витрину и отломать маленькую фигурку Начальника Всего, стоящую на улице. Она прятала ее в коробке из-под леденцов. Мне было неудобно признаваться господину Сяо в ее воровстве, но он только улыбнулся:

— У меня есть запасные фигурки, да и мастер-наладчик в любой момент сделает еще одну. Это детская фантазия — бегающий по этажам человечек. На самом деле их шесть, для каждой сценки свой.

У входа нас с Каплей встречал электрический монстр — старичок с моноклем в глазу (стекло увеличивало вытарашенное око); нимб, голубоватый, электрический, искрился за его лысой головой; от пальца к пальцу шла вольтова дуга; низкий голос пел: «Томас Альва Эдисон, Томас Альва Эдисон».

— Деда, деда! — зазвенел голосок Капли из дальнего левого угла. — Иди скорее!

Тюрьма Начальника Всего была зачехлена, укрыта огромным брезентовым мешком, на котором висела табличка: «Автомат временно не работает». Как я был благодарен господину Сяо в эту минуту!

Когда мы уходили, он поклонился нам на какой-то старинный китайский лад, я ответил полупоклоном, Капля сделала книксен.

— До осени! — сказала она.

— До осени, — сказал и я.

Глянул на меня господин Сяо.

— Удачи вам во всех начинаниях ваших.

В троллейбусе Капля сказала:

— Он тоже должен был ответить: «До осени».

### Котовский и магия

В предотъездной суете коту нашему удалось осуществить наконец свое давным-давно вымечтанное намерение.

Кота нашего звали Котовский, имя-отчество — Кот Котович. Котенком и молодым котиком-подростком не желал он откликаться ни на одну кличку: ухом не вел, игнорировал, даже отворачивался, рыло, так сказать, воротил, — откликался только на слово «кот». Ну, мы и назвали его по полной программе.

Отследив недреманным ястребиным оком туманный стеклянный шарик из заповедного кинематического автомата, Котовский вскочил на край бюро, сшиб лапой шарик, погнал его к цели, Нина только вскрикнуть успела, а уж кот, паршивец, точным ударом загнал шарик в лузу дыры, единственной дыры в полу — незаделанному хвосту щели на порожке кухни, с которой он предварительно неусыпными трудами отодрал краешек линолеума. Шарик пополнил мышинные сокровища, некогда описанные Каплей в одном из первых романов ее, стал главным сокровищем Мышиного Короля. Котовский сидел, жмурясь, покачиваясь от счастья. Он

даже не протестовал, когда его загнали в переноску и понесли, наподобие саквояжа, в джип, на котором друг мой перевозил нас на дачу. На сей раз животное молчало всю дорогу, ни одного вопля-подвыва, видимо, счастье расправы с шариком переполняло его.

Изба наша всегда отсыревала за зиму — надо было протопить печи, открыв настежь окна и двери. Сосед, дед Онисифор, двоюродный дядя привезшего нас друга моего, к нашему приезду подмел дорожки у нашего дома; так мы и заселились в летнюю жизнь раньше лета.

Художники были на месте: пришли с этюдов, поприветствовали нас. Дачники из Москвы не ожидались в это лето: отправились на какие-то теплые острова в океане показать детям пальмы.

Кот ел траву у дома, валялся в старой Каплиной песочнице на солнышке. В сенцах Нина постелила его коврик, на котором он и лежал, когда мы вечером пошли спать. Кошачий леток в нижней части входной двери — я гордился своим дизайном: дверца открывалась и туда, и сюда, распахивалась на вход и на выход, смотря с какой стороны головой животное его боднет.

Первые три дня по приезде мы настраивали сельскую жизнь свою — пожитки стояли запакованные: сумки, чемоданы, узлы, старый баул, манатки, причиндалы, мунгурки.

В первую ночь на новом месте Котовский неожиданно решил пометить помещение. И вместо того чтобы выйти во двор, осквернил один из пакетиков, оставленных на полу в сенях, где поутру встретила нас волна тропического благоухания кошачьей мочи.

Но выбрал он не приоткрытую сумку с одеждой, не связки газет и картонок на растопку (по счастью), а сверточек, привезенный Каплей, — связку маленьких ярких книжек. Она чуть не расплакалась с досады, а я, прочитав названия и увидев картинки на обложках, тайно возрадовался. То были не виденные мной в городе пособия по магии: «Как сделать куклу вуду», «Что такое гри-гри», «Гаитянские зомби», «Инициальная и имитативная магия» и тому подобное. Мы отнесли всю библиотечку мракобесную, завернув ее в полиэтиленовые пакеты, в мешки с мусором, которые друг мой, собиравшийся в середине дня в город обратно, традиционно возил на городские помойки, чтобы не утруждать деда Онисифора.

Капля шлепнула Котовского по задку — тот удрал, обиженный, обходить деревеньку; вернулся к ночи, грызть свои кошачьи сухарики, пил молоко, умывался с невинным довольным видом.

— Только попробуй осквернить нашу растопку, — сказал я ему, — выгоню в лес, дикие звери сожрут.

Котовский терся о ноги, польщенный вниманием.

Я сунул его башкою в его леток, туда и обратно. Да он и так помнил, как входить и выходить.

— Магию не любишь? — сказал я ему. — Я тоже не люблю.

Капля устала, уснула рано, мы сидели на нашей веранде с горсточку, пили чай.

— Можешь себе представить, — мы почти шептались, чтобы девочку не разбудить, — она целую подборку книжонок про прикладную магию приволокла. Инструкции, как правильно сделать куклу вуду, тыкать в нее иголки и врага на расстоянии извести. А Котовский ее учебники оккультные осквернил и тем уничтожил. За это я ему особо благодарен, благородному животному. Как в город поеду, ему его хека любимого или минтая привезу.

— Моя подруга Л., — отшепталась Нина, — помнишь, та, которая увлекается поисками геопатических излучений...

— Что такое геопатическое излучение?

— Не помнишь? Она говорит — когда под землей пересекаются две подземных реки или ручья, даже если они на разных высотах, в перекрестье возникает вертикальное излучение определенных характеристик. Оно не опасно. Если над точкой пересечения стоит дом, вертикаль идет до крыши и далее, сколько бы этажей в доме ни было. Но человек не должен в зоне такой вертикали ставить кровать: он будет плохо засыпать и не отдохнет за ночь. А кошки прекрасно себя чувствуют в местах геопатических излучений и норовят спать именно там. Может, от книжек про магию тоже идет какое-нибудь излучение, и Котовский его почувял?

— И осквернил кошачьей мочой? Нелогично.

— Почему? Они так помечают пространство: дескать, мое. Не осквернил, а тавро поставил.

— Ладно, — сказал я, — давай спать. Ты такая же фантазерка, как твоя внучка. Но если она так же упряма в квадрате, как ты и я, она будет шить или лепить из глины своих убойных куколок по памяти. Согласись — это все же лучше, чем по инструкции. Перепутает, дофантазирует. Может, ветер и дождь будут за нас и развеют этот ее заскок, как дурной сон.

— Как сон, как утренний туман.

Кот ширкнул своей дверкой, ушел во двор проверять тьму, мышей, ушанов, наличие собратьев.

### Леонтьев

Я пришел на эту землю,  
чтобы делать хорошо.  
Я пришел на эту землю,  
чтобы делать всем ништяк.

*Василий Уриевский,  
авторская песня*

Утро было ясное, тихое.

— Ты куда, Федор? — спросил дед Онисифор, положив локти на свой заборчик.

— К Леонтьеву.

— Подожди, я с тобой пойду.

Почему-то дверь леонтьевской избы закрыта была на ключ, дед стал ее открывать.

— А хозяин где? В город уехал городское жилище навестить?

— Нету хозяина. Осенью утонул.

— Как утонул?!

— Не видал никто. Поплыл на лодке то ли к приятелю в Большое Сельцо, то ли на рыбалку. Лодка, ты знаешь, у Леонтьева была с течью, давно мог починить, а специально не чинил, чудил, это, говорил, мое дзен, белое пятно, и как чуть-чуть набираться начинает, вычерпываю, набирается медленно, я, говорил, пока отчерпаю, в действительность и в полное бдение сознания прихожу; мне, говорил, так плыть в удовольствие, а при моих приступах задумчивости прямая необходимость. Никто не знает, как вышло. Бутылка-то заповедная с буфета пропала, может, с собой взял, выпил, заснул, может, с сердцем плохо стало, хотя он вроде не болел. Затонул вместе с лодкой. Через пять дней нашли. Водолазов милиция вызывала. Бывают в жизни вещи непонятные. Вроде особой загадки нет, а понять никак.

Мы вошли.

— Художники говорят, один из их друзей дом бы купил, переехал бы; да у кого покупать? а переезжать, говорят, пока рано, пусть дом без хозяина в трауре год отстоит. Вот хожу, прибираю, проветриваю. Маринка приходит на крылечке и на своем чурбаке-постаменте лежать.

Слева от входа стояли колонны, антики. Первую колонну притащил Леонтьев из усадьбы, где служила она подставкою то ли для вазы с цветами, то ли для небольшой статуи. Коринфский верх с площадкою был попорчен, он добавил своих листьев, площадку сделал с кашпо или цветочным горшком, раскрасил верх с листьями, от еле заметного, разбеленного зеленого, до яркого, под кашпо, — настоящие листья и цветы смешивались с искусственными. Колонна, самая высокая, чуть выше человеческого роста, считалась самой главной. Ее соседка, пониже, скромней, увенчана была смешной женской фигуркой, держащей в руках цветочный горшок, — туда можно было поставить букет или горшечное растение. Жена Леонтьева очень любила именно эту колонну и говорила, что садовница-малютка похожа на нее. Еще пара колонн, ионическая и дорийская, заканчивались подставками, на которые ставили ушаты или тазики с рассадю. Между колоннами хозяева сеяли овес или сажали прибрежные травы-метелки; перед травой стоял чурбанчик широчайшего векового дерева, на котором любила спать маленькая тихая леонтьевская кошка Маринка.

Когда Леонтьев овдовел, он хотел жене на могилу поставить колонну с маленькой садовницей; уже и договорился, что из большого села за мостом, где на окраине и находилось кладбище, приедет друг на телеге (сам Леонтьев был безлошадный), отвезут, поставят; да раздумал, говорил: «Нет, не годится, языческий символ греко-римский, крест своей барочке сделаю». Почему-то жену свою звал он «барочка моя», дед Онисифор сказал: у нее девичья фамилия была то ли Баркова, то ли Баринова.

В моем первом конструкторском бюро один из инженеров звал жену свою «божочек мой», я все дивился, а выяснилось — девичья фамилия ее была Божок.

Поставил Леонтьев на могиле жены сделанный им за зиму редкой красоты крест, а в изножии креста маленький замок птичий: узкая двускатная крыша, под которой жила фотография. Вокруг креста с замком посадил ландыши.

За грядками, за кустом сирени, в дальнем левом углу, красовались башни деревянные (вот те были повыше колонн), из серебристого сушняка, некрашенные: Эйфелева, Пизанская, Татлина и Леонтьева.

— Пизанская у художников сейчас. Они еще при Леонтьеве к себе на время унесли скрепы смотреть.

— Просто их должно быть не четыре, а три; их и есть три.

— Мне кажется, он хотел пять поставить: непостроенную колокольню питерского Смольного собора, у него было фото макета, да не успел.

Все серебристые деревянные столпы, арт-объекты, скульптуры, стоявшие у двух дорог, задуманные и изготовленные художниками дядей Петей и дядей Пашей (моложе дяди Пети в два раза) вместе с Леонтьевым, и появились-то на свет именно из-за этих четырех башен — не моделей, не макетов, не игрушек — образов воплощенных.

Что касается фигур, то и они появились благодаря двум любимым героям Леонтьева: чучелу и снеговик. Впервые художники приехали зимой и, увидев трех снеговиков, налепили еще штук шесть, а потом Леонтьев, развеселившись, еще три поставил, сказал: «Летом приезжайте, вдарим по чучелам». Что и было исполнено. Художники и Леонтьев, рукоделы и фантазеры, прямо-таки нашли друг друга.

За колоннами, между ними и сараем, стояло несколько шестов, нет, все-таки большие столпы просек были помесью колонн и шестов. На деревянные шесты-

вешки вдоль зимних троп и дорог Леонтьев стал сажать деревянных птиц: сову, ворона, сокола, просто птицу; некоторые сидели, раскинув крылья, то ли только что сели, то ли взлетали. В заросшем крапивой саду уехавших в город Дометовых хотел он поставить посередке крапивного чеса шесток с крапивником. Они спорили с дедом Онисифором — ухаживать ли за участком дометовским, увеличив площадь своих грядок и картофельных прямоугольников за его счет; крапива, говорил Леонтьев, скоро окажется в Красной книге, да и нужна: и от простуды сушим, и для кроветворения, и от прострела хлещем, давай оставим как есть. И оставили как есть, соблюдали только тропку к крыльцу да финскую розу у дома, чтобы нежитью не пахло. А до шеста с крапивником все руки не доходили.

— Все-таки спивался он мало-помалу, — сказал дед Онисифор, — побеждал его зеленый змий. При жене лучше держался. Давно ведь началось-то.

Тут вспомнилось мне, как встретил я свою однокурсницу с возлюбленным ее, высоким красавцем, перманентно пьющим, очень одаренным художником. Он пошел в картофельный ряд рынка, она остановилась со мной поболтать.

— Что ж ты такая мрачная, — спросил я. — Генрих твой сейчас в порядке, трезвый, тихий, не пьет.

— Это по-моему он не пьет, — возразила она. — А по-моему он силы копит, чтобы в запой впасть.

Не раз потом мне на ум приходило это ее «силы копит».

Перерывы между леонтьевскими запоями были большие, за лето мы его пьяным большей частью не видели. Кроме одного раза. Я шел мимо его дома с этюда: калитка нараспашку, что-то темное ворохается во дворе, точно забредший зверь. Леонтьев подымался, земля вертелась, его снова клонило к ней притяжением адова магнита, он падал, опять пытался встать, вставал, падал, на четвереньках добрался до полной дождевой воды бочки под водостоком, цепляясь за бочку, встал, макая голову в воду, весь заплескался, упал с разворотом, его заклинило между бочкой и домом, и он моментально уснул, бледный, в неудобной позе, с вывернутыми руками и ногами. Вода стекала по лицу, лила за шиворот с волос. Дед Онисифор смотрел из-за забора.

— Давайте его в дом затащим, уложим, — предложил я.

— Даже и не думай, — сказал дед. — Еще забуйнит или приступ судорожный с ним станет. Пусть спит. Через час встанет, пойдет в кровать завалиться и проспится. Иди уже, только калитку притвори.

Через час, крадучись, пошел я дедовы слова проверить. Никого на участке, одинокая бочка, в доме тишина, на крыльце спит маленькая кошонка Маринка, возле крыльца дремлет приходящий пес Свободный: сторожит сон хозяина.

Назавтра увидел я Леонтьева преувеличенно аккуратным, выбритым, собранным, разве что молчаливей обычного, — и сделал вид, что ничего не было.

С первого знакомства, с первого лета, я узнал, что Леонтьев пишет, у него издаются рассказы и повести, в город он ездит в издательства и в Союзе писателей состоит, где смотрят на него, писателя из народа, как на самородка. «Как на чудище трехглавое», — сказал он мне тогда. Критики сравнивали его героев с персонажами Зоценко и Шукшина. Пил ли он, когда ездил в город? Я не знаю. Если поездка совпадала с загадочным и невычислимым циклом запоя, думаю, да. Если не совпадала — являлся тихим, каким увидел я его после сцены около бочки, сверхаккуратным, преувеличенно корректным.

В доме было, как всегда, прибрано, вещей немного — минималистский интерьер с принесенными тремя предметами иного стиля, все из той же, в итоге спаленной, усадьбы: резное кресло модерн, под готику, с высокой спинкою, буфет с зеркалом, застекленный книжный шкаф.

— Вот тут, наверху, на буфете, на уголочке, заповедная бутылка и стояла, — подал голос дед. — Я все удивлялся: что это он в сельпо за три километра за водкой выдвигается, когда у него вон на буфете своя поллитра есть? Он говорил: особое зелье, плохой человек подарил, пусть стоит. А как утонул он, зашли мы с художниками, сразу я приметил: нет бутылки-то.

— Может, паленая была водка? — предположил я, — И он отравился?

— Какая водка? Коньяк стоял. Коньяка паленого не бывает.

## В лесах

— Феденька, она взяла у меня тряпочек и нитку с иглкой.

— Вот и хорошо.

— Ничего хорошего. Она шьет эту чертову куклу для черной магии.

Капля возилась с шитьем, Нина с обедом, я с картофельным полем.

— Пойду погуляю, — сказала Нина. — Посмотри за ней.

Я видел: Нина пошла к просеке.

— Капля, — сказал я, — помоги деду Онисифору с рассадой, пожалуйста, а я пойду за Бабилонией присмотрю, чтобы не заплутала.

Я и вправду не любил, когда она уходила одна.

— Ладно, — сказала Капля, откладывая свою чертову куклу.

Я шел за Ниной леском, крадучись, чтобы она не видела меня. Я знал, куда она идет: к маленькой церкви, которую восстанавливали дед Онисифор и Леонтьев с художниками.

Аккуратные строительные леса обводили церквушку снаружи и изнутри, внутри полы были застелены пленкой, газетами, по центру лежали мостки из досок, — уже не руины, еще не храм.

Нина вошла, я остался, не замеченный ею, у входа.

Я хорошо слышал ее голос.

Она легла на доски, глядела вверх, где с купола — единственное полностью расчищенное и отреставрированное изображение — смотрел на нее Христос.

— Господи, — говорила Нина, — извини, что я молюсь тебе так, лежа, но так я вижу тебя, а голову наверх мне не поднять, голова у меня закружится, могу упасть: что если расшибусь, кто же будет хозяйство вести. Прости, я такая, и молиться я не умею, так жизнь сложилась, хотелось бы, чтобы сложилась иначе, но все таково, как есть. Господи, спаси и сохрани нашу маленькую внучку Капитолину, должно быть, мы неправильно воспитывали ее: мы говорили ей о добре и зле, но неточные были наши человеческие слова, и вот теперь она хочет бороться со злом самым прямым образом — она хочет уничтожить злодея при помощи колдовства и тем спасти мир. Она не понимает, что это тоже мечта об убийстве и что будет с ее маленькой душой, если она утвердится в сегодняшних мыслях своих. Господи, спаси ее и сохрани, Тебе лучше знать, как это сделать, потому что мы не знаем, придумать не можем, и молюсь я Тебе: будь милосерден к маленькой девочке, отведи от нее всякую мысль о колдовстве, пошли ей ангела-хранителя, отвоюй ее воинством ангелов своих, проведи путями Провидения Своего, не дай пропасть, аминь.

И пока она вставала, я дунул рысцой к дому через лесок, чтобы она не заметила меня и не узнала, что я ее услышал. Я успел усесться на крылечко и кое-как перевести дыхание, когда Нина вошла в калитку, а вслед за ней Капля, воскликнувшая:

— Мы сажали с дедом Онисифором рассаду! и семена! и огурцы в прямки со стеклышками, как в маленькие парнички! и лук-севок! Вот у меня мешочек с луком, можно я его посажу? Бабилония, ты уходила? Где ты была?

И отвечала Нина:

— В лесах.

Она улыбалась своей нынешней нежной косой улыбкою, почти такой, как в молодости, когда свел нас с ней до конца дней островной град Свяжск.

### Неудачный день

Друг мой, родственник деда Онисифора, привез ему припасы, загрузил в багажник мешки с мусором, переночевал и утром повез меня в город, где должен был я кое-что выяснить в Публичке к очередной своей халтуре, получить пенсию, проветрить квартиру и к вечеру с ним вместе вернуться в нашу деревеньку, куда, встретив в аэропорту племянника, отвезти собирался он его к деду Онисифору на месяц.

Перед отъездом успел я спереть у Капли маленькую коробочку из-под монпансье, где хранила она украденную фигурку Начальника Всего (собиралась ее зашить в свою неподобную колдовскую куклешку). Мы теперь, я в частности, ввали и воровали. Я положил в коробочку камешки, заклеил ее скотчем, а когда подъехали мы к мосту перед большим селом, попросил остановить джип, да и шваркнул коробочку с моста в воду.

Друг высадил меня у Публички, в журнальном зале и в зале эстампов нашел я все, что мне надо было, но занесла меня нечистая сила в интернет-кафе Лавки Крылова, и тут заплескались вокруг меня недобрые волны.

То ли рассказывавший про Сабину Шпильрейн человек обмолвился, спутав Львов и Ростов, то ли моя память меня подводила, — я путал эти два несхожих города и решил уточнить, где именно жила она с дочерьми. И я набрал запомнившееся мне название места ее гибели: Змиёвская балка.

Несколько человек под ник-неймами переговаривались на страничке. «Вот эти три фамилии, — подавал реплику один из них, — значатся в списке в Змиёвской балке погибших. А мне доподлинно известно, что один из троих погиб в бою, второй в настоящий момент живехонек и проживает в Израиле, а третий умер после войны. Перед нами обычная жидовская манера врать и приписывать, преувеличивая количество людей, погибших в холокосте». Остальные собеседники, подхватив тему, талдычили на все лады про соответствующие морды и жидов как таковых.

Хоть меня считали моралистом, я никогда никому не указывал, как ему выражаться, ругаться и обзывать, да хоть матом крой: тебе жить — мне есть кого воспитывать. Но здесь, на краю этого окраинного оврага, заполненного кое-как валявшимися телами беззащитных, безоружных людей, женщин, детей, стариков, расстрелянных сытыми, молодыми, вооруженными до зубов зигфридами, все эти «морды» и «штучки» зазвучали для меня так, что в ушах зазвенело — волна мгновенной ярости ослепила меня.

Я выключился, включил прогноз погоды, отдышался.

Но воспоминания о семинарах дней юности, лета в Свяжске, где встретились мы с любимой моей, уже обвели меня туманом своим: я вспомнил доклад Тамилы, вместо биографий основоположников и их известных всем нам великолепных дизайнерских и архитектурных работах рассказавшей нам об их женах, дочерях, спутницах, — и захотелось мне увидеть тех, о которых я тогда узнал впервые.

Вот два портрета Альмы Малер, Брунгильды, роковой женщины Третьего рейха, а вот нежное, тихое личико Манон Гропиус. Бакминстер Фуллер с женой, с которой дожили они до глубокой старости и умерли в один день.

Изображение прекрасной мулатки, Черной Жемчужины, Черной Пантеры — Жозефины Беккер, певицей и танцевавшей весь рейс в каюте сухаря Ле Корбюзье (как увлекался я в юности его идеями! его Модуларом!). Одежды на ней было всего ничего. Но рядом с ее изображением имелся текст, и дернул меня черт этот текст прочитать. Любвеобильная мулатка (все тот же феноменальный длинный список, замыкаемый Хемингуэем), кроме бесконечных любовников, путалась и с любовницами, по современному — была бисексуалкой, по-старому — двусбруйной; и среди ее нетрадиционной ориентации дам значилась художница Фрида Кало, чьи работы прилагались, чья биография прилагалась: бедняжка, попавшая в страшную аварию, как моя Нина. Работы показались мне тяжелыми, исполненными патологии. Муж, великий монументалист Ривера (как увлекались мы в институте его росписями!), ревновал ее к любовницам, но особенно ревновал ее к Троцкому, в которого была она влюблена, которому посвящен был самый сухой и неприятный ее портрет.

Я совершил еще одну попытку переключиться, глянул на виллу Эйлин Грей на Лазурном берегу: вот эта героиня романов с дамами, наконец-то влюбившаяся в мужика, построила для него чудесный «дом для любви». Но и тут текст подловил меня в сети свои.

Избранник ее, Жан Бадовичи, тоже оказался нетрадиционной сексуальной ориентации: ну и парочка. «Пропади все пропадом!» Съехав на соседнюю статью, увидел я два фото Ле Корбюзье, расписывавшего виллу Эйлин Грей («по просьбе Бадовичи») престранными фресками. Корбюзье осквернял белые стены полуэротическими изображениями, позируя перед фотографом в чем мать родила.

Вот тут выключил я ящик и двинулся к выходу; голова слегка кружилась; посетители интернет-кафе, уставившиеся в одну точку, манипулировали иероглифами и иератами посредством мышей своих, мурлыча в свое удовольствие.

Я вымелся на улицу злой и голодный, в пирожковой стояла длинная очередь, в «Север», где последний раз видел я Тамилу с Энверовым, идти не хотелось, я поскакал в скромный буфет Публички, ныне называющейся РНБ. Вид бедно одетых читателей, вкус дешевых сосисок с пюре и чая с лимоном вернул меня в подобие равновесия.

Идя по набережной Фонтанки, весь этот букет патологических пристрастий и фашистских диалогов никак не мог вытряхнуть я из головы. Магазины индийский, в котором собирался я купить подарок Нине ко дню рождения, исчез, пропал, вместо него некое кафе зазывало голодных. Любимый книжный (дверь в стене) закрыт был «по техническим причинам».

В сердцах стукнул я кулаком по безвинной гранитной тумбе набережной и в воздух произнес:

— Да что ж это за день-то неудачный такой!

— Что за неудачи преследуют нашего Тодора Божидарова под тихим весенним солнцем? — подал реплику обгоняющий меня слева прохожий.

Передо мной стоял Филиалов.

Лицо его за долгие годы стало морщинистей, мятые брюки штопором завивались вокруг тощих длинных ног, каблуки элегантных пыльных ботинок были выше, чем надо, как у степиста.

Он улыбался.

Сбоку проплывал трагический замок цвета оранжево-розовых перчаток фаворитки императора, фрейлины Лопухиной, в котором работала Тамिला; впереди справа *Alma mater* вздымала стеклянный купол — кунсткамера юности моей.

И я рассказал ему про сегодняшнее свое утро, про свою жизнь, про Каплю, желающую извести Начальника Всего, про тяжелые травмы Нины, словно он ждал моего рассказа, как первый встречный русского дао из неведомого поезда.



— Знаете ли вы, — сказал он, выслушав меня, — что Сабина Шпильрейн теперь вовсе не безвестна, о ней знают все, о ней фильмы снимают, в начале восьмидесятых в Вене был найден ее архив, дневники, письма Юнга.

Я остановился. Остановило меня слово «письма».

— А ведь у нас дома, в третьем левом ящике старого бюро, лежит письмо Энверова! Может, от него идет какое-то хреново излучение, оно создает фантастическое поле, и Капля из-за того на нем и зациклилась?

— Письмо от Энверова? — поднял брови Филиалов. — Вы с ним переписывались? Он вам писал? С чего бы это?

— Он не мне писал, а Тамиле. Тогда, давно.

И я рассказал ему о «Севере», о приходе плачущей Тамилы в дом наш, о моей поездке в зимний Свяжск, о снеговиках, о месте, где лежала левитановская тень облака и где встретился мне с ведром воды монах из будущего монастыря, о том, как родились и выросли наши дети.

— Я как будто обо всем забыл, пока дети учились, росли, пока Капля была маленькая, — сказал я. — А за письмом Тамила так и не пришла.

— Так вы не знаете? — спросил Филиалов.

— Что?

— Тамила погибла много лет назад.

— Как?! — вскричал я. — Не может быть!

— Вы ездили в Свяжск зимой. А она погибла весной.

— Где? Каким образом?

— Здесь, неподалеку. Все неподалеку. Место ее работы, «Север», куда ходила она в обеденный перерыв и где встречалась — вот об этом я не знал ничего — с Энверовым. И подворотня, из которой она вышла, тоже рядом.

Тамила вышла средь бела дня из подворотни, упала, потеряла сознание. Вызвали «скорую».

— Она за обедом любила выпить пару рюмочек коньяку.

— Да, я видел, и тогда в «Севере» тоже.

Врач из «скорой» учуял запах спиртного, решил, что дамочка пьянчужка, вызвал милицию, Тамилу увезли в вытрезвитель, где она, не приходя в сознание, умерла к ночи от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. «Со знанием дела ее ударили», — сказал Филиалов. Сумочка Тамилы была пуста — ни денег, ни документов. Назавтра новый дежурный нашел в боковом карманчике сумочки визитную карточку директора ВНИИТЭ, позвонил, выяснилось, где Тамила работала и кто она такая.

— Вы письмо читали?

— Нет, — отвечал я.

— Отдайте его мне.

У меня никакого желания хранить послание Энверова (после стольких лет хранения...) не было.

— Конечно.

— Вы когда уезжаете на дачу?

— Часов через пять друг за мной на машине заедет.

— Через три часа буду у вас. Давайте адрес. Вот мой телефон.

И мы разошлись.

В метро я вдруг вспомнил, что в лето рождения нашего первенца по всему городу: во дворах, садах, скверах, на бульварах — стали вырубать сирень. Тамила, как знали все, зародилась из сирени, как врубелевская девушка весенней ночи; выкорчевывая, уничтожая сирень, словно уничтожили ее возможность вернуться, чудом ожить, зародиться снова. Голова кружилась — вот сейчас кондрашка хватит: что девочки

мои будут делать? С валидолом в зубах выбрался я из подземки, побрел к дому, ментоловый холодок заставил меня собраться.

### Письмо

«Я много раз пытался объяснить тебе, в чем для меня смысл отношений с женщиной, но ты не слушала меня, вечно думая о чем-то своем. Придется изложить все на бумаге; может быть, читая и перечитывая, ты будешь внимательнее. Да, конечно, очень важна физическая сторона, праздник, который всегда с тобой, исправляющий настроение, создающий веселье в любую сложную минуту, дарованное от природы, ни с чем не сравнимое бесплатное удовольствие, одинаковое для богатых и бедных (что несколько унизительно и несправедливо, ты не находишь?), усиливаемое тренировкой с добавками „Камасутры“, а также малыми дозами спиртного, травного, афродизиаковой приправы с таковой же диетой.

Но важен момент выборочности, принадлежности к некоему определенному слою, а в идеальном варианте — и он, и она, и я, и подружка моя должны принадлежать к высшей расе, высшей касте, никакого плебейства, все самое лучшее с детства, взрастите дитя на шоколадках, отбивных, фитнесе, пусть плавает, катается на лыжах и коньках, умеет управлять автомобилем и яхтой, охотиться, стрелять и т. д.; для девочки хороша художественная гимнастика (балет слишком преувеличивает поступь и статью, балет перетренировывает, в нем есть нечто рабское). А тебе многое дано от природы: тоненькая талия, округлость ляжек, икр, плеч, легкая, танцующая походка, атласная кожа. Веселая полнота жизненных чувств. В нас обоих есть данные принадлежности к высшей касте.

Само собой, люди должны быть с детства безбедные, состоятельные, никакой жалкой, позорной нищеты, штопаных чулок и носок, все в человеке должно быть шикарно — от стрижки до обуви. И у мужчины обязательно должно быть желание власти, вкус к власти над всеми окружающими его существами более низшего порядка. Истинный представитель высшей касты — вернее, хозяин, начальник всего и всех; это тест.

И у меня есть мечта повелевать людьми: чем больше людей, тем лучше; пусть постепенно, наращивая количество толп: предприятием, городом, страной, миром. Власть хороша и явная, и тайная. У меня есть такой набор бутылочек водочных, „Двенадцать апостолов“, они собраны нижней круглой подставочкой, отделанной серебром, воедино (и общей большой, тоже с серебром, пробкой); каждая бутылочка — сегмент, сектор, могут доставаться отдельно или стоять вместе. В каждой своя настойка, свой вид водочки: вишневая, сливовая, рябиновка рыжая, рябиновка черноплодная, лимонная, апельсиновая, мятная, можжевелевая, калгановая, семитравная, анисовая и одна с ядом, помеченная тайно, не скажу чем. Это моя русская рулетка. Один раз, признаюсь тебе, я ее применил на практике. Ни с чем не сравнимое чувство — знать, что один из твоих собутыльников через шесть часов умрет, а ты в роли Рока.

Во мне есть все, чтобы повелевать миром. Я изучал разные методики (в том числе гурджиевскую) и практики и понял науку шахматных виртуальных партий, где на доске стоят живые люди, а ты провидишь много ходов вперед, ты всегда начинаешь и всегда выигрываешь. Я иду к своей цели. И сам я, и моя женщина будут абсолютно свободны в передвижении, в осуществлении своих желаний, поступков, капризов, поездок, да хоть на Марс. Нам будет принадлежать весь свет.

Поэтому нужна не жена, не любовница, не партнерша; мне нужна сообщница. И я выбрал тебя. Ты мне подходишь.

Но я должен тебя предупредить: кроме „Двенадцать апостолов“, в арсенале моем наборы неопределяемых ядов и неуловимых киллеров. И предательства — любого — я не прощаю. Склонен уничтожить любого и любую, кто встанет у меня на пути, тебя в том числе, тебя тем более. Так что в словах „моя дорогая“ для меня важнее „моя“, а цена, обозначаемая вторым словом, несущественна. Мы за ценой не постоим.

Ты наконец поймешь меня, услышишь, пойдешь со мною, придешь, приедешь, прилетишь, когда позову, где бы я ни был.

И теперь я снова целую тебя всю, готов одеть тебя во все прекрасные побрякушки мира: бриллианты, жемчуга, рубины, изумруды, что там еще? и всегда помни, что твой главный выигрыш, твой главный лунный камень, твой алмаз „Раджа“ неисчислимого числа карат (или каратов?) — это я».

Письмо начиналось словом «я», им же и заканчивалось.

Филиалов читал, стоя у окна, ко мне спиной.

Прочтя, он некоторое время стоял молча, не поворачиваясь. Когда он повернулся, я подивился, как изменилось лицо его: стало маской отчасти, пролепилось, подобралось; некогда замеченное отсутствие бликов в глазах (обязательное даже для персонажей портретистов) неприятно поразило меня.

— Вы сами-то прочли?

— Да, — отвечал я.

Он щелкнул замочками маленького старомодного портфеля — конверт исчез, опущенный в портфельную тьму молниеносным движением фокусника.

— Ваша внучка — умная, наблюдательная девочка. Просто ей данная тема ни к чему. При случае — не теперь, не сейчас — постарайтесь донести до нее, что со злом должно бороться зло.

— Первый раз слышу, — сказал я.

— Вы вообще человек глубоко невинный, да у вас вся семья такая, таковыми и оставайтесь. Теперь это мое дело. Ваша задача — задержаться на даче подольше, ну хоть до середины сентября. Я позвоню вам или напишу — сам.

— Да как это — подольше? А школа? Первое сентября? Мы и так, наврава с три короба, уехали раньше.

— Где три короба, там и четыре. Мы вам поспособствуем, в случае чего.

«Что значит „мы“?» — подумал я, чувствуя холодок на загривке.

— Она согласилась танцевать со мной, — сказал Филиалов (с какой, однако, раздельной, великолепной дикцией...), — на одном из пустырей бытия, хотя, по сравнению с ее блистательными кавалерами, был я существо невнятное, некрасивое, непрезентабельное, в мятых брюках, чтобы не сказать штанах. Не захотела унижать отказом. Как-то упустил я ее из виду. Прощайте. Все у вас будет хорошо.

Он ушел, и я не видел в окно, куда он пошел: он не появился на единственной дорожке через двор от нашей парадной, словно улетучился или не было его вовсе.

## День рождения Нины

Миллион, миллион, миллион алых роз...

*Андрей Вознесенский*

Мы ехали по окраине, пробираясь к выезду из города, к вечернему шоссе. Племянник друга моего, Денис, сидел на заднем сиденье с большим лохматым существом семейства кошачьих, черно-рыже-белого окраса.

— Что же я натворил! — воскликнул я. — Ведь я так и не купил Нине подарок, а отчасти затем и ездил. У нее завтра, в среду, день рождения.

— Среда сегодня, — дуэтом сказали дядя и племянник.

Друг развернул машину, мы покатали назад, потом вбок:

— Ничего, не тушуйся, тут на выезде из города большой магазинище, там и сувениры, и ювелирка, и цветы, а мы пойдем торт с пирогом искать, встретимся у машины. Ты в силах запомнить, где мы остановились?

— Да я не вовсе рехнулся, — сказал я, — так, поплыл, рассеянный с улицы Бассейной.

— Это что ж такое? — спросили идущие с этюдов, увидев, как вылезает я из машины с букетом-кустом алых роз.

— У Нины день рождения.

— Через полчаса зайдем поздравить на десять минут.

Зашли с двумя бутылками шампанского: салют пробок, пили шампанское из граненых стаканов, и торт, и пирог ели с бумажных салфеток, как студенты. Дед Онисифор с внуком Денисом принесли аккордеон с гитарой, пели; слова не все были им известны, они вставляли текст собственного сочинения: «Я счастливый дед Пыхто, я счастливый, как никто, я счастливей всех в миру, так счастливым и помру...»

— Я теперь не усну после шампанского, — сказала Нина.

— Я вам Кузю на ночь принесу, — сказал Денис. — Кузя в родстве с лемурами. Дрыхнет волшебным образом, как в сказке про «Спящую красавицу».

— А они с Котовским драться не будут? — спросила Капля.

— Ваш Котовский сам уснет, как загипнотизированный.

Нина перерезала сворку, на которой болталась огромная, страшная в красотище своей, надутая гелием серебряно-золото-ало-фиолетовая лошадь, — и под выкрики и посвист монстр-Пегас воспарил.

Разошлись быстро, звезды светили вовсю, возле розового куста (про миллион алых роз тоже спели) стоял маленький лабрадоровый бычок со стразами глаз.

— У тебя со мной была жизнь такая трудная из-за аварии, — сказала Нина, — и из-за того, что стала я полуинвалидным существом.

— Про тебя, красотка, этого не скажешь, глянь в зеркало.

— И жили мы из-за этого так бедно.

Сон действительно валил с ног, заколдованный сон от одолженной лемурианской кошки. На столе стоял в стакане граненом подарок художников: маленький букет из сухих ветвей, посеребренных и отполированных временем до блеска, как заборы и старые избы заброшенных деревень. Он цвел мелкими, с ноготок мизинца ребенка, бубенчиками, поблескивал каплями росы стеклянных шариков.

Нина подняла упавшую мою куртку, из кармана выпал листок, который вытаскивал я из ящика вместе с письмом Энверова и машинально сунул в карман.

— Что это?

— Случайно дома подобрал.

Она рассмеялась.

— Да ведь это я в Свяжске записывала текст доклада из «Книжной полки»! Это отрывок из книги сына Ренуара об отце. «Представления Огюста Ренуара о бедности и богатстве».

Ренуар питал отвращение к дешевым вещам. Часы, по его мнению, должны были быть золотыми или серебряными. Он не признавал никель. Белье должно было быть только полотняным. Мать не пользовалась бумажными тряпками, которые оставляют на стаканах белые пылинки. И, напротив, терпеть не мог хрустали, который считал вульгарным из-за его безупречной чистоты, с удовольствием глядел на бутылки кустарного производства из Вар-сюр-Сен, неодинаковые, из толстого зеленоватого стекла, с отсветами, «богатыми, как волны океана в Бретани». Прилагательное «богатый» он употреблял так же часто, как и про-

тивоположное — «бедный». Охотнее Ренуар прибегал к определению «тос» — подделка. Но богатство и бедность для Ренуара означали вовсе не то, что для большинства смертных. С его точки зрения, особняк в Монсо, гордость какого-нибудь миллионера, был всего-навсего «тос». Покосившаяся, набитая детьми в отрепьях хижина на юге была для него «богатой». Однажды он со своим другом обсуждал Рафаэлли, известного живописца того времени, достоинства которого отец признавал с некоторыми оговорками. «Вы должны его любить, — сказал друг, — он писал бедных». — «Тут-то и возникают сомнения, — ответил Ренуар, — в живописи нет бедных!» Вот перечень некоторых вещей, относимых им безоговорочно к категории «бедных»: ярко-зеленые, подстриженные английские газоны, белый хлеб, натертые полы, все предметы из каучука; статуи и здания из каррарского мрамора, «пригодного только для кладбищ»; мясо, тушенное на сковороде; соусы с мукой; красители для стряпни; бутафорские каминь, выкрашенные черным лаком; нарезанный хлеб (он любил его ломать); фрукты, очищенные ножом со стальным лезвием (он требовал серебряного); бульон, с которого не удален жир; дешевенькое вино в бутылке с красочным ярлыком и громким названием; лакеи, подающие в белых перчатках, чтобы спрятать грязные руки; чехлы, покрывающие мебель, и того более — люстры; щетки для хлебных крошек; книги, резюмирующие писателя или научный вопрос или излагающие историю искусства в нескольких главах, и заодно — иллюстрированные и периодические журналы, тротуары и дома из бетона; асфальт на улицах; литые предметы; простыни с набойкой; центральное отопление, иначе говоря — «ровное тепло»; к этому разряду он относил смешанные вина; предметы серийного производства; готовую одежду; муляжи на потолках и карнизах; проволочные сетки; животных, стандартизованных рациональными методами выведения; людей, стандартизованных обучением и воспитанием. Один посетитель как-то сказал ему: «В таком-то коньяке я больше всего ценю то, что качество одной бутылки совершенно тождественно качеству любой другой. Никаких сюрпризов!» — «Какое удачное определение небытия!» — ответил Ренуар.

Теперь читатель достаточно знает моего отца, что-бы угадать, что ему нравилось, а что нет. Я дополнил список перечислением нескольких вещей, которые Ренуар считал «богатыми»: фаросский мрамор, «розовый и без признака меловатости»; жженую кость; бургундские или римские черепицы, обросшие мхом; кожу здоровой женщины или ребенка; предметы из золота; серый хлеб; мясо, поджаренное на дровах или древесном угле; свежие сардины; тротуары, вымощенные плитами; улицы, выложенные слегка синееющим песчаником; золу в камине; вылинявшую одежду рабочих, многократно стиранную и заплатанную, и т. д.

— Я склонен верить Ренуару, дорогая моя, — сказал я. — Не думаю, что мы прожили жизнь в бедности, хотя нам вечно не хватало денег на самые обычные вещи. У нас были свои перечни, свои представления о богатстве — были и есть: наше счастье!

И уснули все.

И снились всем сны.

А над нашими снами, над пространствами весей, дорог, лесов, разрухи, любимых гнезд, путей сообщения, катящих привычно воды свои в загадочных границах берегов рек летела раскрашенная балаганная лошадь, бликовали анилины и самоварное золото лошадиной гривы в лучах луны.

Утром встал я ни свет ни заря, тихо-тихо затопил печь, чтобы было тепло, снова лег спать. В окне цвела сирень. Засыпая, подумал: не скажу Нине про Тамилу. Не сегодня. Но и не завтра. Может, вообще никогда.

**Дионисий Онисифоров  
и Доротея Капитолийская**

Денис чистил канаву на улице, собирал землю со дна, носил в ведре в дедову компостную кучу, сквозь редкий низкий заборчик видна была ему Капля, занятая шитьем.

— Куклу шьешь?

— Не то чтобы куклу, — отвечала она. — Вольта шью для колдовства.

— Иди ты, — сказал он и ушел с полным ведром.

— Что за вольт? — спросил он, возвращаясь с ведром пустым.

— Гаитянское колдовство вуду. Сшить куклу по инструкции, зашить в нее какую-нибудь деталь твоего врага: пуговицу, прядь волос, ноготь, а потом тыкать в куклу иголки: в сердце, в печень, куда ни попадя.

— И что будет?

— И враг помрет.

— В киллера играешь? — спросил он, уходя.

— А что за враг? — спросил он, возвращаясь.

— Один мафиозный интриган. Людей убивает, ворует миллионы, мелкие страны стравливает до малых войн, враньем стравливает большие.

— И ты решила мир спасти?

— Ну.

— Нет слов, — сказал он, наполняя ведро весенней донной грязью со дна канавы.

Из ворота рубашки его выбился крестик на гайтане, блеснул на солнце.

— Ты крещеный? — спросила Капля.

— Да.

— И в Бога веришь?

— Да.

— И в церковь ходишь?

— Да.

Тут он ушел, вернулся и спросил ее:

— Капля — это прозвище?

— Уменьшительное имя, — отвечала она, приосанившись. — Меня зовут Капитолина.

— А фамилия?

— Дорофеева.

— Надо же! Доротея Капитолийская! Ты должна держаться чинно, ходить прямо и жить величественно, а не играть в туземное колдовство.

— Теперь ты свою фамилию скажи.

— Такая же, как у дедушки, Онисифоров.

— У него имя как фамилия! И имя-то древнее, я его раньше не слыхала.

— В роду, должно быть, много веков назад имя повторялось, отсюда и фамилия пошла.

— Ты, значит, Денис Онисифоров. Тебя зовут как героя 1812 года.

— Это я в паспорте Денис. А в крещении я Дионисий. Не герой двенадцатого года, а великий художник.

— Художника не знаю.

— Мастер Дионисий, автор древних церковных фресок. Как Андрей Рублев.

— Рублева папа любит.

— Мой папа говорит: с таким именем надо держать ухо востро и жить достойно.

— А мама что говорит?

— А мама говорит: вы, Онисифоровы, хоть и на все руки мастера, за вами нужен глаз да глаз. А то вы в ванной из подручных средств атомный котел сварганите вместо бойлера.

— Вроде Хогбенов! — вскричала Капля в восторге.

— О Хогбенах не слышал, — сказал он и ушел с ведром.

— Я тебе расскажу! — воскликнула Капля. — Это фантастические рассказы Каттнера про одну деревенскую семейку!

— Семейку знаю только Адамс.

— Хогбены круче.

Денис опять ушел с ведром, а вернувшись, осведомился:

— Ты знаешь, что такое презумпция невиновности?

— Пока суд не доказал, преступник не виновен.

— Вот пока суд не доказал, все твои догадки, доказательства и прозрения насчет твоего монстра недействительны. А если ты его колдовством угробишь, это будет такое же бандитское мочилово, как у него.

— Когда рыцарь убивает дракона, — вскричала Капля, — у дракона нет никакой презумпции невиновности!

— Тебе до рыцаря семь верст до небес, — сказал Денис. — Пойду дедов бредень чинить.

— Что такое бредень?

— Рыболовная снасть.

Через минуту он ненадолго вернулся, чтобы произнести:

— Ты приостановись в колдовство-то забредать, а то по следующей инструкции с благородной целью нашему черному петуху башку колуном оттяпаешь.

И ушел чинить бредень.

А Капля убежала в избу, начала там шуровать.

— Домодедов, ты не видел мою коробочку из-под монпансье?

— Нет, не видел, — нагло соврал я. — Конфетку хочешь?

— У меня в ней фигурка Начальника Всего краденая лежит.

— Всегда следи за краденым.

— Она исчезла.

— Слушай, — предположил я, — мы намедни банки консервные пустые собирали, чтобы на джипе мусор в город вести; может, ее случайно прихватили.

— Что же я теперь в свою куклу зашью?

Вопрос ее остался без ответа.

Денис чинил дедовы ходики с кукушкой, Капля пересказывала ему истории о Хогбенах.

Наконец кукушка закуковала.

— Ты прямо часовщик.

— В приборостроении хочу работать. Например, в оптической лаборатории, делать пробные образцы новейших разработок. Папа говори: из меня толк выйдет.

— А мама что говорит?

— Она говорит: толк выйдет, бестолочь останется.

— Ты бы собрал из старых неработающих чердачных не боящийся помех приемник, мы бы слушали. Мы ведь не знаем, что происходит в мире.

— Тебе это летом к чему?

— А вдруг что-то в мире стряслось?

— Ежели что, отец за мной приедет. И вас вывезет.

— Дорогу, например, паводком размочет.

— Если надо, он вертолет найдет, эмчээсовский, пожарный, прилетит, это ведь мой отец. Дыши ровнее. Какие хорошие рассказы фантастические ты рассказала. Надо тебя в леонтьевскую баньку сводить.

— А что там?

— Увидишь.

— Так пошли.

— Нет, лучше не к ночи, туземцы сниться будут. Завтра днем.

— Скажи, — спросила Доротея Капитолийская, — а Анциферов и Онисифоров — не одна и та же фамилия?

— Нашла кого спрашивать, — отвечал Дионисий Онисифоров, — я в этимологии и в ономастике как свинья в апельсинах.

### **Банька Леонтьева**

Я приколачивал рейку, чинил край крыши старого сарая, когда вопль Капли чуть не снес меня со стремянки. Змея ее укусила? Упал на нее проржавевший бак? Руку сломала? Я несся к участку Леонтьева, раскрасневшаяся Капля вылетела мне навстречу, размахивая руками, указывая на что-то, крича:

— Деда, деда! Там... в баньке, у Леонтьева... колдовство! Денис в одном углу великан, в другом карлик!

Тут до меня дошло.

— Ай да Леонтьев, — сказал я, беря Каплю за руку, — вот же умелец народный. Идем, не бойся, я знаю, что это.

На пороге баньки улыбался во весь рот (рот до ушей, хоть завязочки пришей) Денис.

— Я думал, ей интересно будет, а она испугалась.

— Капля, — сказал я, — это комната доктора Эймса, в ней видят люди не то, что на самом деле. Зрительная иллюзия. Так комната специально построена. Сейчас мы с Денисом будем ходить из угла в угол и превращаться из великанов в карликов.

И мы прошлись перед нею, уменьшаясь в дальнем углу, обольшаясь в ближнем.

Вот теперь она была в восторге.

— А если я так пойду?

— Тогда, о Алиса в стране чудес, мы увидим тебя то карлицей, то великаншей.

Она отправилась, поглядывая на свои руки.

— Какая ты в том углу малютка! А здесь под потолок!

Она была несколько разочарована.

— Я на свои руки смотрела, думала, они уменьшатся или увеличатся, а они такие же, как всегда.

— Ты тоже как всегда. Это мы со стороны видим тебя разной.

Мы сидели на чурбачках неподалеку от баньки.

— Комнату придумал еще до войны доктор Эймс. Сначала придумал, потом построил. Теперь хозяева иллюзионов возводят такие по всей земле. Как Леонтьев.

— Они с дедом Онисифором ее построили, — сообщил Денис, — а художники раскрасили.

Подошла Нина.

— О чем это вы, сидя рядком, говорите ладком?

— Бабилония, в леонтьевской баньке человек в дальнем углу карлик, а в ближнем великан.

— Это комната Эймса.

— Бабилония, откуда ты знаешь? Вот и Домодедов в курсе.



- Мы с дедушкой в молодости одни и те же книжки читали.
- А Леонтьев?
- Он тоже их читал. Книг выходило не так и много, хорошие знали все.
- И у нас дома про такую комнату книга есть?
- Да. Про зрительные иллюзии. Есть еще Эшер, художник, чьи работы — сплошь зрительные иллюзии, и прямо при тебе рыбы превращаются в птиц.
- Я тебе к вечеру одну из иллюзий нарисую — известный старый фокус: то видишь двух людей, то вазу.
- Нарисуй прямо сейчас!
- Сейчас надо крышу сарая чинить.
- Нарисуйте, пожалуйста! — попросил и Денис. — Крышу я вам починить помогу, быстро сделаем.
- Особенная какая комната, — задумчиво произнесла Капля. — Не для жизни, а для взгляда со стороны. И мы, когда захотим, — зрители, а когда захотим — куклы.
- Я почему-то вспомнил виллу Эйлин Грей.

### Книжный шкаф

Сушили леонтьевский дом, в котором никто не жил: распахивали настежь все окна, двери, створки малой веранды, оконце мезонина, мелкие окошечки, то там то сям иллюминаторами освещавшие где лесенку, где каморку, где кладовку, от-крывали застекленные буфет и книжный шкаф. Дом обрел геометрию стаи больших стрекоз — обострялся стеклянными крылышками и крыльями рам. Дед Онисифор говорил: у жены Леонтьева был некогда свой, особый рецепт мытья окон — они становились пронзительно прозрачны, алмазно сияли, солнечные зайчики летали по дому от открываемых на сквозняках бликах стрекозиных крыл.

Хозяин дома давал соседям читать книги из большого полупрозрачного книжного шкафа своего; шкаф и теперь играл роль деревенской библиотеки, только читателей поубавилось.

— Ведь он писал книги? Папа говорит, что писал. Почему ни одной его книги здесь нет?

— Не знаю, — отвечал Денис, — может, в городе держал.

Леонтьев увлекался философией, ей посвящена была отдельная полка: Платон, Кант, Григорий Сковорода, китайская «Книга перемен», о. Павел Флоренский, Соловьев, Игнатий Брянчанинов, Мераб Мамардашвили. Открыв сборник статей «Античность и современность», прочел я название статьи Ярхо: «Была ли у древних греков совесть?» — и взял книгу почитать. Детективов Леонтьев не читал, но все же три для Нины нашлись: «Имя Розы» Эко и «Фламандская доска» Переса-Реверте; томик Пристли решил я взять для нее в следующий раз, зная, что она с удовольствием перечитает «Затемнение в Грэтли».

— Домодедов! — вскричала Капля. — Что я нашла! Тут есть две главы о магии, в этой толстой книге!

Толстая книга была фрэзеровская «Золотая ветвь».

— Но это не про то, как людей колдовскими куколками изводить, — заметил Денис, — то есть про сам факт сказано, но не в виде инструкции или руководства к действию.

— Ты ее читал?

— Всю не смог. Листал и читал отдельные страницы. Она как сказка про сказку. У нас дома такая есть.

Денис выбрал «Осы» Халифмана и «Не кричи, волки» Фарли Моуэта.

Одна из полок была подобрана самым дурацким образом: в ней соседствовали романы Диккенса, разрозненные томики Чехова и драматурга Островского, малюсенькие брошюры («i» Флоренского, «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.», «Венецианское зеркало, или Похождения стеклянного человека» и «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» придумавшего термин «моральная экономика» Александра Чаянова), толстенный четырехтомник Даля, десяти томник Достоевского, старинная лоция Маркизовой лужи с нарисованными на картах парусниками, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Юнги Северного флота» Пикуля, «Морские рассказы» Житкова и рассказы о кладах неведомого мне автора — солянка сборная. Сперва я решил, что пользующиеся книжным шкафом соседи суют, сдавая, прочитанное куда попало, но потом понял: это полка любимых книг.

Когда доставал я книжку Льюиса, сверху упала горизонтально лежавшая белая папка с завязками, на которой рукой Леонтьева было начертано: «Добро и Зло». Я думал, что найду эссе Леонтьева или список литературы, но там лежали несколько листков: куда девалось остальное? увез в город? сдал в издательство? печь протопил? Он часто жег рукописи в печи, то изданные, то разонравившиеся, и приговаривал, усмехаясь, что на несколько мгновений становится как Гоголь. На первом листке прочел я: «Интересно, откуда Борисов взял слова („Волшебник из Гель-Гью“): „Непоправимо Добро. Зло таланта не имеет“? Сам придумал? Или нашел где-то?» Дальше был отрывок то ли из статьи, то ли из дневника, но не черновой, без правки, хоть и написанный от руки куриным, с хвостами и завитушками, странным леонтьевским почерком. «И поэтому вы, — писал он, — живете в городах, в отопленных стараниями теплосети комнатах, кипятите кастрюли с чайниками, не растапливая печь и не включая древнюю электроплитку, не ходите за водой со старыми ведрами, разбивая лед в колодце морозной зимой, не таскаетесь в магазин за продуктами за три километра в соседнее село в любую погоду. Вы ставите коньяк редакторам издательств, критикам, вы одна компания, о премиях литературных молчу вообще. При этом таланты и достижения не в счет как таковые. А я сижу в заброшенной деревне, зимой все дороги и тропы заносит снег, браконьерствую противу рыбнадзора и укрупненных, дальних, но грозных лесничеств, чтобы добыть дров и не сдохнуть с холода. Синекуры у меня нет, только куры, отнюдь не синие птицы; пенсия, как положено, грошовая. Но стоят у меня во дворе Эйфелева башня, Пизанская, не существовавшая в натуре Татлинская и собственно моя, мой Париж за сараем, тогда как вы побывали на берегах Сены не единожды, в веночках несуществующих литературных заслуг. И скульптуры мои, малые ли, большие, овеивает ветер, заливают дождь, замедляет снег. Вот только женушку мою, мою барочку, съела эта нищая, требующая недюжинной физической силы жизнь. Правда, и над вами, как надо мной, сидят воруги тысячные, миллионные, миллиардные, но к орде этих акул что и обращаться; я для них ничтожество, но и они ничтожества для меня. Вы-то хоть опусы свои бесталанные пишете грамотно.

Но я, произнеся все вышеозначенное, осознаю, как грешен я в своей гордыне, в тщеславии таланта скромного своего! И гордыню свою бедную ощущаю злом.

Но ведь обращаюсь я к вам на «вы», а Господу говорю: Ты, Господи! И говорю: спасибо Тебе и за то, что святые, наученные Тобой, обладатели дара исцеления и чудотворения, предпочитали погибать, нежели убивать других. А что сказал нам Франк? Ведь это он сказал, философ с корабля дураков, с корабля, на котором отправила в изгнание Советская Россия философов своих (хорошо, что отправила, а не утопила, подобно баржам, полным узников, затопленным в пути куда-то):

«Всякий верующий без богословских трудов знает, что такое добро и зло и что надо делать, чего не надо». «„Дневник писателя“, — писал Леонтьев, — это оксюморон (как „маленькие трагедии“ — „Каменный гость“, „Скупой рыцарь“). „Jour“ по-французски „день“, ежедневник — удел журналиста; писатель тяготеет к Вечности, в крайнем случае обращается к эпохе».

«— Мне эта работа не подходит, — произнес он, скривив губы презрительной гримаской.

— Да вам никакая работа не подходит, — нагло сказал я ему правду в глаза, — а подходит только шампанское пить на крыше „Европейской“ гостиницы. Но на таких прорв всего шампанского мира не хватит».

«Ты говоришь: „Как было хорошо! Тогда, в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые!“ Конечно! Были молоды, самоуверенны, самонадеянны, ничего не знали и знать не хотели, не верили ни в Бога, ни в черта, ах, как было хорошо!»

«Сосед мой передал мне слова друга своего, помешавшегося на постчернобыльском времетраении и смещении времен: „Разве слово «ускоритель» не наводит вас ни на какие мысли? И слышали ли вы о теории, согласно которой жизнь на Земле зародилась в Африке из-за ядерных реакций природного котла месторождений урана?“ Уран; Сатурн; Хронос. Иди скажи часам: шли бы вы подальше».

«Моя барочка любила присловья и поговорки, украшала ими речь свою. Про меня, осердясь, говаривала: „Все люди как люди, а мой как черт на блюде“».

«Преступление и есть наказание. Преступил невидимую черту, очертившую человеческое сообщество. И не может вернуться обратно. Даже если хочет. Чувства другие. Ощущения другие. Вся химия переродилась. Так у Раскольникова».

«Я поднимался по лестнице, меня чуть не сшиб с ног скатывающийся вниз встречно молодой человек. За ним выскочил из двери прозаик Базунов (которого почитали мы за гения) с криком: „Что ты наделал, негодяй?! Ты убил человека!“ Выяснилось, что молодой убегающий автор в своем произведении умертвил главного героя». И то был последний листок полупустой папки.

### «Он пропал!»

— Вот приехал раньше времени, а вывезу вас чуть позже, — сказал друг мой, внезапно возникший под окнами на джипе своем. — Сейчас же и обратно.

— Иди чай пить, отдохнешь и поедешь, — сказал дед Онисифор. — А Дениса сейчас не увози, увезешь всех сразу.

— Дня на три в школу и Денис, и Капля опоздают. Не страшно. Я готов и в Каплину школу идти извиняться.

— Сам извинюсь, — сказал я.

Уходя, услышал я, как за открытым окном избы Онисифоровых дед, брякая чашками, спросил:

— Ну, что нового в мире?

И едва успел я дойти до крыльца, как за мной пулей влетела в калитку Капля, крича:

— Деда! Деда! Он пропал!

— Кто?

— Начальник Всего!

И, захлебываясь, рассказала: Энверова обвинили в некогда совершенном убийстве или даже двух, его должны опять арестовать — он исчез, пропал, объявлен в розыск.

— Кого убил? — спросил я.

— Каких-то своих сообщников по бизнесу. Его ищут, но он бежал.

— Баба с возу — кобыле легче, — сказал я.

Друг уехал, а я взял свой допотопный велосипед, наврал, что еду подыскивать место для этюда, домчался до моста через реку, взобрался на холм и позвонил Филиалову.

— Он пропал! — повторил я возглас Капли, вместо того чтобы поздороваться.

— Да, — отвечал Филиалов. — Федор, вы обещали задержаться до середины сентября, потом позвонить.

Я обещал?

— Детям надо в школу, — сказал я. — Мы приедем числа третьего.

Филиалов молчал.

— Скажите, — спросил я, — а где он теперь?

— В аду, — ответил Филиалов, и связь прервалась.

Особенно тихий был вечер, все налито было тишиной. Дед Онисифор смотрел на небо, качал головой, вздыхал, я ждал, что он что-то мне скажет, но он молчал.

Перед сном мы перешептывались, чтобы не разбудить Каплю.

— Куда он, по-твоему, делся? Где он? — шептала Нина.

«В аду», — звучал у меня в ушах голос Филиалова.

— Мало ли, — отвечал я. — Прикупил остров в океане, выстроил на острове замок, скрывается в личном владении в водах нейтральных. Под чужим именем обитает в Аргентине или Мексике. Лег в потаенную клинику пластических операций, где ему сделают другое лицо.

— Помнишь, ты рассказывал мне, как встретил ночью в Свяжске под кустом сирени любимого писателя? Тогда ты не знал, кто он. Потом мы читали его книгу и смотрели многосерийный телефильм по этой книге, очень хороший. А я выучила фамилию актера, игравшего главную роль: Мегвинетухуцеси. Книга о человеке вне закона, абраге. И ведь автор тоже сидел...

— Абраг — благородный разбойник, он всем делает добро, ему платят злом. Конечно, помню. Что значит «тоже сидел»? Писатель этот сидел по-черному, в самых страшных местах ГУЛАГа, в Норильске например. И он был *политический*, всегда в интервью и статьях подчеркивал: был кружок юных горячих голов, настроенных против советской власти. Его-то отца, тихого семьянина, юриста, схватили ни за что; отец бежал; его поймали, садист-следователь убил его на допросе. Гибель отца он простить не мог. А Энверов сидел как уголовник, за воровство и подтасовки финансовых сумм немереных, да еще в современной тюрьме. Кстати, в тридцатые годы политических заключенных ненавидели — травили, расстреливали, а уголовников, блатных, называли «социально близкие» — их «перевоспитывали», в прессе сие называлось «перековка».

— И политический, выжив и из лагеря выйдя, такую книгу написал... А наш-то уголовник небось сидел и вычислял, как отомстить тем, кто его в тюрьму отправил.

— Само собой, вычислял. Считал великой несправедливостью, что столько денег лежит на заграничных его счетах, а он из-за проклятых тех-то и тех-то не может башли свои прекрасные краденые тратить — шиковать, плести интриги, добиваться власти, путешествовать, строить виллы на всех широтах и долготах. Зато планы мести строил, графом Монте-Кристо себя считал: ты не радуйся, змея, скоро выпустят меня. И будет вам всем от меня полный абзац. Как включу свой башлет, замочу тебя, урод.

— Помнишь, как назывался доклад про романы Дюма на свияжских семинарах? «Занимательная уголовщина».

Тикал в старых венцах избы древоточец, скреблась под полом мышь.

— Может быть, теперь, — шептала Нина, — когда он исчез, с Каплей все обойдется...

Не договорив слово «обойдется» (я додумал его сам), она уснула молниеносно: то было одно из свойств, приобретенных ею после страшных травм дорожного происшествия, — способность засыпать с места в карьер, как засыпают кошки, сонилемуры, не знаю, кто еще; ментально проваливалась она в Морфеево царство, бросая меня на произвол судьбы.

Ночью задул ветер, превращающий весь мир в хор.

### Смерч

Я проснулся: стучали в дверь. Было рано, и хотя свету пора было и воцариться, темные грозовые тучи мешали ему. На пороге стоял Денис. Когда я распахнул дверь, волна душного теплого воздуха вошла в дом.

— Дядя Федор, смерч идет, будите своих и спускайтесь в подпол, кота в переноску, одеяла и документы с собой, я вам фонарь принес, большой, на батарейках, у нас два.

— Как это — смерч?

— Поднимитесь на чердак.

Мы поднялись. В слуховое окно видна была клочковатая, неземная, огромная туча, из которой, увеличиваясь, извиваясь, спускался к земле огромный хобот смерча.

— Со стороны села идет, в нашу сторону. Все, будите своих, я побежал. Форточки в сторону села закройте, а в противоположную откройте, дверь на ту сторону тоже лучше распахнуть и подпереть, дед говорит.

Мы сидели в подполе на топчане для ящиков с картошкой, накинув на него ворох подушек и одеял. Котовский молча скребся и ворохался в переноске. Участвовавшие было удары грома словно выключились. Там, снаружи, нарастал гул, приближающийся звук громадной колесницы, немереного поезда, — мы чуяли мелкую дрожь земли. Капля сидела между нами, нахохлившись, как воробышек, заткнув уши.

— Смерчем может дом снести, — сказала Нина.

— Мы в подземелье, нас не снесет. Вот сарайчик с туалетом могут и полетать, если им не повезет.

— А если крышу снесет и нас завалит? — спросила Капля.

— Художники на месте, у них гости, Онисифоровы в своем подвале, по соседству — откопают, не бойсь.

Голоса уже увязали в приблизившемся грохоте, мы плохо слышали друг друга. Шум и треск падающих деревьев, глухо ударявшихся оземь. Вдруг на какое-то краткое, неисчислимое время стало тихо, словно мы оглохли, затем гул возобновился, но словно поменял направление.

— Он свернул, — сказала Нина.

— И прыгнул, когда сворачивал.

— Мне кажется, он удаляется.

Звук стихал, удалялся. Тут застучало по крыше, словно камнями осыпало дом.

— Град.

— Стекла не выбьет?

— Выбьет — вставим.

— У нас дверь открыта.

— Подожди, через некоторое время пойду закрою.

Когда пошел я закрывать дверь, увидел белое при пороге, бел был наш сад-огород от крупных градин, свет в доме отключился. Я закрыл дверь, закрыл форточки; хлынул ливень, заливая всклянь оконные стекла; тьма еще стояла над

нами, но то была привычная мгла сильных дождей и гроз, а не черно-лиловая космогоническая мгла древнего ужаса.

Нина с Каплей вылезли из подпола, таща подушки, одеяла, фонарь и переноску с котом. Не сговариваясь, не глядя на часы, мы полегли, расположившись по кроватям, Капля на диванчике; обе они с Ниной уснули мгновенно на незнакомой планете бурь, в аквариуме дома; я провалился в сон через некоторое время, успев увидеть спящую на диванчике Каплю и лежащего на дерюжно-плетеном коврикe кота.

— Хоррор, хоррор! — приговаривал кот, деря когтями дерюжку.

Дождь лил сутки, слегка утихнув к вечеру; вечером заскреблось в дверь — я впустил продрогшего и мокрого как мышь пса Свободного, который долго отряхивался в сенцах, обдавая меня каплями, пахнущими псиной и непогодой.

На следующее утро меня разбудил непривычный звук.

«Да неужели смерч возвращается? Неужели нас перенесло в долину торнадо?»

На лужок за домами садился вертолет. Стало тихо. На башне Татлина, разворотив ее, лежала упавшая сосна, на сарае — полусухое дерево из семьи тополиных, которое я не первое лето собирался спилить.

Я вернулся в дом, укрылся одеялом; стук в дверь — на пороге стоял человек, на чьей одежде красовались три утешительные буквы: МЧС.

— У вас все в порядке? Вы здоровы, целы?

— Да ничего, — отвечал я, — разве что крышу снесло.

— У вас проблемы с кровлей? В каком строении?

— Спасибо, — сказала Нина, — с кровлей все хорошо. Только света нет.

— Свет дадим в течение двух суток, постараемся пораньше, много в районе обрывов проводов, деревья падали. Деревья поваленные мы распилим; если есть тачка, забирайте на дрова, поможем к домам чурбаки подвезти. А вот на вашу эту... вышку... вешку... штуку... около просеки..

— Арт-объект.

— На объект одно дерево упало, малость объект попортило. Так где тачка-то? Говорят, у вас тут зимогор имеется.

— Ну, я зимогор, — сказал дед Онисифор. — Дениска, кати тачку, вторую у художников возьмем.

— А церковь? — спросила Нина. — Церковь цела?

— Целехонька, в лесах строительных стоит, — отвечал эмчээсовец, — хотя рядом две сосны упали. Кто из вас Онисифоров?

— Мы, — сказали дуэтом дед и Денис.

— Ваш отец про вас спрашивал, велел узнать, не надо ли вас днями вывезти, лекарство какое привезти, продукты, тогда он за вами прилетит, мы ему передадим.

— Не надо прилетать, — сказал дед, — скажите: все хорошо.

— И вывозить не надо, — сказал внук, — за нами третьего сентября дядя приедет, всех и вывезет.

— Это вряд ли, — сказал человек из МЧС, — мост снесло, чинить будем. К вам не проехать.

— Когда почините? — осведомился дед Онисифор.

— В лучшем случае числу к пятнадцатому сентября.

— Ничего, мы подождем, — сказал дед, довольный, что Денис с ним до середины сентября побудет. — Привет сыну передавайте, а вам спасибо и за дрова, и за весточку, и вообще за работу.

— Вот как свет дадим, мост починим, будет нам спасибо, — сказал эмчээсовец, улыбаясь, очень довольный, что мы живы, целы, дома наши стоят, никого из-под завалов доставать не надо.

— Смерч шел на нас, — сказал Денис, — но свернул на просеку.

— Мимо проскочил. Ну, сейчас дрова ваши доставим, дальше полетим.

Из дома вышла сонная Капля с Котовским и Свободным, точно с почетным эскортом.

— Вы прилетели? — спросила она. — А ураган кончился?

— Мы улетаем. Стихло ваше торнадо.

— А что это за звук?

— Деревья пилим, барышня. Бывайте здоровы.

### Огненный столп

Первую вешку — поставленную несколько лет назад художниками с Леонтьевым скульптуру из сухих ветвей, самую высокую, попорченную смерчем, — решено было предать огню.

— Не ровен час, — сказал старший художник, дядя Паша, — сама свалится да еще кого из гуляющих либо идущих придавит. Мне лично не жалко. Зачем за собственное искусство цепляться? Время само, что нужно и того стоит, отберет. Сигнал в ноосферу мы уже подали — зачтется.

— А мне жалко, — сказал младший художник, дядя Петя.

— Жалко у пчелки, — сказал дед Онисифор.

— День только надо выбрать, — сказал я.

— Что ж тут выбирать? В годовщину Леонтьева. В память о нем.

— Если ветра не будет.

— Не будет, — сказал дед. — Ветер вышел весь.

В полном безветрии, при абсолютном штиле (ни один стебелек не шелохнется), под светлым, слегка обесцвеченным предосенним небом собрались мы все вокруг высокой серебристой скульптуры-вешки.

Словно мы ждали чего-то, и она ждала; беззвучен был диалог наш, и между нами и ею стояли зеленые канистры с бензином и алые сурки огнетушителей.

Мы запалили деревянную скульптуру, величавую, даже и с надломленным, порушенным верхом, в конце дня, чтобы к ночи успело истлеть кострище. Когда взметнулся к небу огромный факел, из рощи, левее просеки, выскочила небольшая компания мужиков с ведрами и баграми, видать, команда наезжавшего на свой участок фермера. Они неслись тушить пожар, но, увидев, как мы замерли вокруг огненного столпа, сначала остановились, а потом пошли к нам уже не спеша, улыбаясь, тащили свои ведра с водой.

Фермер купил участок земли за леском, начал строиться; дело было в девяностые — на него стала наезжать какая-то кодла из полуместных (или тоже заезжих?) рэкетиров; не знаю, что требовали, должно быть, чтобы платил ясак в их орду. Фермер был несговорчивый, ему грозили, жгли и разваливали то, что он строил, угрожали семье: да мы вас в асфальт закатаем! какой асфальт? фигура речи — одни проселочные дороги, раз-два и обчелся.

Но пожары повторялись, повторялись и десанты ушкуйников, доходило до драк, до больниц; спасибо, что стреляли в воздух. Наконец, боясь за семью, фермер съехал. Будучи человеком бесконечно упрямым, стал он наезжать время от времени: там подправить, тут достроить, то плотников на три дня привезет, то трактор пригонит. В конечном итоге рэкетеры рассеялись, развеялись, но окончательно обосноваться хозяин не торопился; только приезды его участились, сроки пребывания за леском удлинились, компания увеличилась, поскольку появились зятья, подросли дети.

Огромный огненный факел снижался, сужался. Завечерело. Предложил дядя Паша: давайте все скажем что-нибудь, кто что хочет. И сам начал:

— Вот не ждал я, когда мы с Леонтьевым задумали и возвели эту первую нашу бандуру, что придется сжечь ее в годовщину его смерти.

— Годовщину? — спросил фермер. — Мы ничего про то не знали, я еще подивился: Леонтьев-то где? Ну, царствие небесное.

— Она была такая высокая, — сказал дядя Петя, — что мы сами не понимали, как нам удалось ее собрать и поставить. А Леонтьев сказал: нет, ребята, маханулись мы, высоковата, масштаб на местности не угадали, да и молнии в грозу будет притягивать, как высокие деревья. Так что все последующие: и раковину, и малую ронду, и три башенки — сделали мы много ниже этой.

— Вот вышел у нас огненный столп, — сказала Нина. — А ведь это название последней книги стихов Гумилева, которого Леонтьев очень любил: некоторые стихи из этой книги знал наизусть.

— В огненном столпе, — сказал дед Онисифор, — пришла к людям на Афон любимая наша икона, Иверская.

— А церковь-то вы ведь с Леонтьевым восстанавливали, не доделали еще? — спросил фермер. — Мы ее видим — дойти все времени не находится, через два дня на третий собираемся.

— Этот год приостановилось у нас, — сказал дед.

— Теперь будем помогать, — сказал фермер.

— Так я сбегаю? — спросил дядя Петя дядю Пашу.

— Иди уже.

Вернулся он тотчас с двумя гитарами. Денис за своей не пошел, а подпели художникам мы все. Пели любимые песни Леонтьева, которые певал он сам или любил слушать: «Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья, о любви спросить у мертвых неужели мне нельзя. И рассказывает череп тайну гроба своего: „Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его“»; «Запрягу я тройку борзых...»; «Когда мы были на войне»; «Хасбулат удалой»; «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была, одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра». Тут запела Капля — звонкий серебристый голосок: слух у нее был хороший. Как давно ее пения я не слышал, а старую песню эту пел ей Леонтьев, когда мы только дом купили, она была совсем маленькая: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть».

Темнело, вылили ведра на уголья, обвели пепелище кругом водяным, а из огнетушителей кругом пенным, чтобы схоронившееся пламя — бойкая искра не полыхнула по траве, не двинула к лесу.

И разошлись по домам — молча, быстро, в разные стороны.

Ночь уже наполнила небо звездами: августовские болиды чиркали, плавно летели спутники, мигал огонек ночного самолета.

— Деда, — сказала утром Капля, — а я в костре вольта сожгла.

— Что?

— Куклу магическую.

— Я не заметил, когда ты успела?

— А я и не хотела, чтобы кто-то заметил.

Капля убежала к Онисифоровым, из дома вышла Нина.

— Знаешь, — сказала она, — ведь наша внучка своего кукленка гаитянского в огненном столпе спалила. Я видела, но смолчала.

— Знаю, — ответил я. — Она мне только что призналась. Сгорели чучело лета и чучелко колдовства.



### Музей иллюзий

— Ну вот, — сказала Капля, державшая на коленях перевозку с Котовским, — все разъехались, деда Онисифора оставили в деревне одного.

— Художники, — сказал Денис, ехавший с Кузюю, которого он все время тормозил, — приедут в конце осени, хотя устроить фестиваль и мастер-класс деревянных скульптур. Мы с отцом приедем на Новый год и на зимние каникулы, может, мать тоже поедет. На весенние я один приезжаю. А там и лето. И с конца осени до начала весны мобильник работает, сигнал ловит, будет другу в село дед звонить.

Мы промчались по новому мосту и через три часа влетели в городское бабье лето.

Уже к вечеру Капля стала просить, чтобы поехал я с ней в музей господина Сяо. Я говорил: сначала выясню, что у меня на работе, потом объяснюсь с твоей учительницей, потом съездим. Она возражала: и на работу, и в школу уже ты звонил, а про наш смерч и про наш мост передавали по телевизору — все в курсе.

Когда прибыли мы в околоток возле проспекта, ждали там нас сюрпризы. Изменился околоток: вместо диабазовых плит и торцов стелился под ноги обычный асфальт, вместо двух деревянных урюпинских домиков шумела огороженная стройка; третий дом, с геранями, был неузнаваем — сайдинг, забетонированный наново высокий цоколь. Кварталы неуловимо потеряли сходство с баганцевскими акварелями; только кое-где воздух стоял прежний, сохранивший память о старинном, тихом житии: послевоенных курятниках, голубятниках, доминошниках и влюбленных.

Флигелек наш перекрасили из небесно-голубого в тусклый зеленый, у двери висела вывеска: «Музей оптических иллюзий».

Встретившего нас толстенького, невысокого смотрителя-кассира Капля в полном недоумении спросила:

— А где господин Сяо?

— Кто?

— А где музей кинематических игрушек? — спросил я.

— Тут был до нас другой музей? — вопросом на вопрос отвечал толстячок. — Я не знал. Мы арендовали пустое помещение. Ищите в Интернете.

Несколько дней Капля искала в Интернете, не обнаружив никаких следов кинематонов и жакемаров.

В музее оптических иллюзий при входе висели картины, многие из которых были мне знакомы по книгам: профили или ваза; расходящиеся и сходящиеся параллельные прямые на фоне других линий; две одинаковых прямых, снабженные разной направленности стрелками, отчего казалась одна прямая длиннее, другая короче, и так далее. Конечно, не обошлось без репродукций Эшера, где виделись вам то белые, то рыжие кони, то белые, то рыжие жуки, то лодки, то рыбы, то птицы. Треугольники превращались в летающую стаю птиц, окуни — в уток, точки — в ящериц, квадраты — в слова; из плоских изображений обшлагов вырастали объемные; рисующие их и себя самих руки; ящер становился колесом; безумные интерьеры с перетекающими пространствами лестниц и башен приглашали вас войти туда, откуда нет выхода, да и был ли вход. Синие, красные и белые гномы напоминали обои, которые могли простираться во все стороны, на все четыре стороны дурной бесконечности. Почему-то бельведер «Водопад» и упражнение по подъему и спуску заставили меня вспомнить тюрьму нашего (будь он не ладен) углового жакемара, а «Планетоид», «Иной мир» и «Relativity» — фантазии и тюрьмы Пиранези. Эшер (все ли голландцы безумны, или только Ван Гог да он?) сам был не Макс и Мориц, как в старой русской книжке, но Мауритц и Морис; и не только по фантазии переводчи-

ка. Мне казался он Джекилом и Хайдом в одном лице. В нем было что-то пугающее. Он принуждал мой мозг и зрение играть без передышки в оптические иллюзии, зрительные обманки, гонял их по кругу арены, как несчастных цирковых лошадок. В детстве он болел и провел год в детской больнице (в какой — хотел бы я знать? я одно время очень увлекался Эшером и знал о его жизнь больше, чем положено было в рамках истории искусств); его отчисляли из учебных заведений за неуспеваемость; его еврея-учителя, художника из Харлема, сожгли в Освенциме; он бывал в Италии и Испании и, в отличие от нас с Вавилонией, в Барселоне. Девушку, на которой он женился, звали Джета. На крещении их первенца присутствовали Виктор Эммануил II и Муссолини. Уехав из фашистской Италии, он оказался в оккупированных Нидерландах. Даже ранние картины его называли механическими и сухими, да он и сам чувствовал, что исподволь терял связь с теплотой пейзажного мира. В 1955 году королева Вильгельмина произвела его в рыцари. Оттиски его работ печатали колоссальными тиражами в США.

Его интересовали симметрия и бесконечность, логические, пластические, пространственные парадоксы, оптические иллюзии, сечения плоскостей, превращения неодушевленных предметов в живые существа, искусственные перспективы с птичьего полета (увиденные, может быть, не глазами ласточки, а оптикой шпиона-беспилотника, дрона), невозможные фигуры, точки исчезновения и возникновения.

По логике вещей он должен был заниматься дизайном оберточной бумаги; он и занимался.

Авторы его выставки в Москве назвали экспозицию «От фрактала до рекурсии». Но я не знал, что такое рекурсия, и на выставке не был.

Я шел по коридорным комнаткам новообретенного иллюзиона: движущиеся постеры, утокролик, утокозяц, белколебеда, тюленемедведь, иллюзии «шахматная доска», «кафе», «рельсы», двойные портреты, привидения голограмм (самые противные — розовые и зеленые натуральные кошки, да и фигуры тоже не отставали, нарисованные итээровскими людьми с их тягой к искусству, но безо всякого вкуса и способностей). Меня прямо-таки мутило от этого нападения на глаза, мозги, вестибулярный аппарат, на все мои личные навигационные приборы.

— В конце пути сюрприз! — обрадовал нас толстячок смотритель. — Помещение, где вы становитесь то великаном, то карликом!

— Банька Леонтьева, — воскликнула Капля.

— Комната Эймса, — вскричал я.

— Так вы уже знаете... — разочарованно произнес работник музея иллюзий.

## Сирень

И накануне вечером, и утром я заметил новую волну затишья в склоках, военных конфликтах, политических дебатах последних известий. С момента нашего осеннего приезда я почувствовал: что-то поменялось по сравнению с весной отъезда, с последними двумя годами. словно зло начало уставать, машина его сбрасывала обороты — это была скорее инерция, чем предыдущий разгон.

Скрыв от своих девочек вытащенное из почтового ящика извещение, получив на почте мелкий пакет от Филиалова, распаковал я его на скамье сквера с фонтаном, где дети собирали неизвестно зачем в траве желуди, как все городские люди в детстве с незапамятных времен.

Открыв присланную сигаретную коробку, увидел я пять других жакемаров, Начальников Всего, — шестого уже успел я отправить на дно реки на даче.

Некоторое время сидел я, глядя на них, как во сне.

Потом набрал номер Филиалова, но он мне не ответил (как никогда потом не отвечал).

Выкинув в урну сигаретную коробку, двинулся я к дому, медленно, очень медленно, лихорадочно вычисляя: куда мне эту великолепную пятерку деть? Урны не годились, не годилась помойка: кто угодно мог их достать, раскидать по округе, — Капля не должна была их увидеть.

Шваркнуть с моста в Неву? Тоже не годилось: поиски коробки из-под леденцов, грузиков в коробку, лик внезапный полицейский: а что это вы шваркнули в воду? уж не устройство ли поганое, дабы взорвать мост? ваши документы; пройдемте.

Почти уже до дома дойдя и не найдя решения, я вдруг увидел на газонах близлежащей улочки выкопанные с трехметровым интервалом ямы для посадки деревьев и порысил в дворовую нашу плотницкую мастерскую, плавно перетекающую в дворницкую, где испросил у жэковских плотников лопату — «земли накопать для пересадки домашних растений».

Вид мой, с лопатой, никаких чувств у прохожих не вызвал: в старой куртке, старомодной кепке, выдавших виды кроссовках, я вполне сошел за совершенствующего посадочные места работника садово-паркового хозяйства. На дне одной из ям выкопал я ямку поменьше, куда и сыпал жакемаров, которым предстояло стать подколодными и однокоренными. Я с радостью увидел, что они не пластмассовые, не оловянные — деревянные! Стало быть, сгниют.

Домой пришел я в великолепном расположении духа.

И ждал меня тихий вечер.

Нина лежала на диване, листала «Domus», номер посвящен был лучшим садам мира. Капля в своем закутке-кабинете делала уроки в молчаливом обществе аквариумных рыбок.

— Что-то Котовского не вижу.

— Можешь себе представить: он опять с улицы Клеопатру привел. Дрыхнут на кухне за газовой плитой. Найди, пожалуйста, Капле книгу Эшера, она просила.

Нам еще предстояло убедиться, что на сей раз Клеопатра останется у нас жить.

Я нашел Эшера, а потом достал и Митрохина, открыл последний раздел, где были не изощренного мастерства черно-белые графические заставки журнала «Мир искусства», не великолепные офорты двадцатых и тридцатых годов, но карандашные рисунки последних лет жизни: свинцовый карандаш, несколько цветных карандашей, бедность, старость, одиночество, четыре стены полунищей комнаты, граненые рюмки, пир из двух гранатов и нескольких грецких орехов, вечное яблоко, редкий цветок. Ничего лучше этих рисунков я не видел: в них не было ни лихости, ни изощренности, ни великолепия, ни красоты — они были просты и прекрасны.

Я открыл книгу Эшера, положил ее рядом с митрохинской открытой книгой с любимым рисунком карандашным, позвал Каплю.

— Скажи, какая работа тебе больше нравится?

Я изготовился прочитать ей краткую лекцию, но она не дала мне осуществить задуманное: не размышляя ни минуты, ткнула пальцем в стену: «Вот эта!» — после чего ускакала к своим рыбкам.

На стене висел мой царскосельский этюд.

Когда Капля была маленькая и приезжали ее родители, наши дети, мы с Ниной убывали в Царское Село, в город Пушкин, как оно тогда (да и теперь) называлось. Я оставлял Нину в гостях у нашего друга, художника, где его красивая жена пила с Ниной чай, а сам отправлялся на пленэр.

Не было на работах моих ни дворцов, ни парковых павильонов, беседок, фонтанов, статуй, — простые житейские, почти житийные места деревянных домов,

изб, ветел, дальних перелесков, скамей на бульварах, железнодорожных насыпей за лугом или полем.

Да, я влюблен был в свой драгоценный дизайн с юности: в остроносый чертежный карандаш, передающий четкие контуры технократических объемов и объектов; в царствие пропорций; в черниковские конструктивистские фантазии; в никель и сталь; в творения и изречения основоположников; в ожерелье из шарикоподшипников Шарлотты Перриан и в косы Манон Гропиус; в лаконичную серийную керамическую посуду финна Сарпаневы; в нависающий клюв автомобиля «Десото».

Но живопись была даже не тайная любовь с детства, не плохая привычка пальцев, складывающихся в шепоть на кисточке с краской, не плазма, лава, пятно начала мира всякого изливающегося цвета, — она была жизнь как таковая.

На моем царскосельском этюде возвышалось деревянное вертикальное неказистое строение (низ служил сараем, верх, должно быть, в незапамятные времена — голубятнею); неровные рейки низкого забора маячили за высокими золотистыми травами осени; вдали голубели в охристом ореоле деревья; за забором стояли купы еще не облетевших кустов.

— Дорогая, — сказал я, — мне наш плотник сообщил: на соседних улицах завтра будут сажать сирень. Я сам-то решил, что деревья, но он уверяет: именно сирень, ему садово-парковый человек поведал; и у нас, и во всем городе.

— Да, — отвечала она с улыбкою, — мне Женья с четвертого этажа сегодня рассказала. Как хорошо. Как я обрадовалась.

— И теперь я надеюсь, что мы доживем до весны, которая окрасит белую ночь во все колера исполненного счастья цветения; весна включит ацетиленовые горелки сияющих кустов: белый, фиолетовый, голубоватый, сиреневый, лиловый, розоватый, мажентовый, пурпурный; сложных и переходных оттенков; названный в честь нимфы Сиринги (в стране русского языка дремлют древние, тайные области греческого и латыни...), некогда бывший «синелью» и «кустами сирен» — персидской, венгерской, гималайской, японской, амурской — любимой нашей сирени. И снова превратится Санкт-Петербург в филиал сиреневой коллекции ботанического сада, в белонощный северный *сирингарий*... Проступит сквозь петербургские ведуты лиловый лес загадываемых желаний. Никто и не вспомнит, что некогда ее, иностранки, странницы, тут не было вовсе: в шестнадцатом веке английский посол при турецком султани привез в Вену первый куст сирени из Константинополя, а в Россию позже, в восемнадцатом столетии, из Франции завезли. Какие-то, согласись, есть в ней чары, в ее цветах и букетах дворянских гнезд. «И в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханьем сирени», — снова нам скажет К. Р., а вслед старинным, вырубленным двадцать лет назад Обломов вздохнет: пропали, погибли. Я, когда маленький был, читал волшебные сказки, как девчонка. «Спящую красавицу» Перро с иллюстрациями Доре, гравюрами девятнадцатого века, лилово-сиреневым подкрашивали, бутылочно-зеленым, старо-розовым (как пена от варенья). Еще читал сказки графини де Сегюр, выданной замуж во Францию Софьи Ростопчиной; там была история про заколдованный Сиреневый лес: в него вошла девочка-принцесса Блондина, замороженная, начала собирать букеты разных оттенков, тяжелые охапки, а сиреневые кусты сомкнулись, сплелись за ее спиной, не было ей дороги назад в отцовский дом, вышла она к находящемуся в центре Сиреневого леса замку, где встретили ее Белая Лань и Кот Мурлыка. Или Матушка Коза и Кот Мурр? В конце концов все расколдовались — и Лань-королева, и Мурр-принц; все закончилось свадьбой и встречей с постаревшим отцом-королем. Но тот Сиреневый лес был заколдован злым волшебником (вроде Каплинова Злодияка), то было место роковое, недоброе. И я потом, в юности, все понять не мог: где графиня де Сегюр, Ростоп-

чина София Федоровна, этот свой лес взяла? «Спящую красавицу» она, конечно, читала, но иллюстраций Доре, с купами сирени, еще не было, не было балета Чайковского с Феей Сирени. Я тогда увлекался архетипами Юнга, даже сдуру подумал: может, сирень тоже архетип? Может, такие растения архетипические есть, и раньше об этом ведали друиды, например?

— Да откуда тебе про сорта и оттенки известно? — спросила Нина. — И про кусты из Турции и Франции?

Я чувствовал, что за стенкой, наострив уши, слушает меня укладывающаяся спать Капля — собирается завтра с утра пораньше в ботанический сад проситься.

— Я в девяностые, да и в конце восьмидесятых каких только халтур не делал. Благоустройством территории старинного санатория вместе с дизайнером ландшафтным, в частности, занимался. Тогда и почерпнул.

Нина улыбалась своей нежной неровной улыбкой.

Я сказал:

— Вавилония, давай поедем в Царское Село.

И она отвечала:

— Давай поедем.